

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА»  
(Самарский университет)

*А.Н. ОГНЕВ*

## ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЛИНГВИСТИКИ

Часть I. Развитие языкознания от учёности к науке

Рекомендовано редакционно-издательским советом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» в качестве учебного пособия для аспирантов специальности 45.06.01 Языкознание и литературоведение

САМАРА  
Издательство Самарского университета  
2017

УДК 165(075)+81(075)  
ББК 87.2я7+81я7  
О-381

Рецензенты: д-р филол. наук, проф. С. И. Д у б и н и н,  
канд. филос. наук, доц. С. В. Ю р о в и ц к и й

*Огнев, Александр Николаевич*

О-381 Гносеологические и методологические основания лингвистики.  
Часть I. Развитие языкознания от учёности к науке: учеб. пособие /  
А.Н. Огнев. – Самара: Изд-во Самарского университета, 2017. – 88 с.

ISBN 978-5-7883-1132-6

В первой части пособия по изучению гносеологических методологических оснований лингвистики рассматриваются вопросы развития языкознания от учёности к науке. Пособие охватывает хронологический период от истоков языкознания в античную эпоху по конец XIX века включительно.

Особое внимание уделяется междисциплинарным связям языкознания и философии. Предназначено для студентов гуманитарных специальностей, занимающихся вопросами истории языкознания.

УДК 165(075)+81(075)  
ББК 87.2я7+81я7

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	4
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ АНТИЧНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 6	
2. ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КОММЕНТАТОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ВЫЗОВ ГУМАНИЗМА.....	17
3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЯЗЫКОЗНАНИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ И МЕТАФИЗИКА КЛАССИЧЕСКОГО РАЦИОНАЛИЗМА .....	28
4. ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯЗЫКА В ФИЛОСОФИИ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ.....	38
5. СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛИНГВИСТИКИ КАК НАУКИ.....	52
6. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ АНТИНОМИЙ В РОМАНТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА.....	63
7. ПРОБЛЕМА МЕТОДА В ЛИНГВИСТИКЕ XIX ВЕКА.....	74
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	85

## ВВЕДЕНИЕ

Развитие языкознания как науки имеет многовековую историю, в ходе которой выявилось удивительное многообразие подходов, теоретических приёмов и методологических установок, нацеленных на всеобъемлющее научное объяснение фактов языка и ориентирующих на различные способы его мировоззренческой интерпретации. Развитие языкознания от учёности к науке предполагало развитие критического отношения самих языковедов к теоретическим воззрениям своих предшественников, не просто переосмысление, а и кардинальный пересмотр принятых и устоявшихся представлений. Возникновение критической рефлексии актуализировало устойчивый комплекс гносеологической проблематики, наличие которого стало определяющим для лингвистики как науки, испытывающей вполне законный интерес к вопросу о семантической когерентности собственных методологических оснований.

Надлежит также принять во внимание и тот факт, что лингвистическая аргументация на ранних стадиях научного развития не представляла собой закрытой системы: лингвистическая мысль была весьма восприимчива к проблемным импульсам и идейным инспирациям, исходящим от философии. Рецепция этих влияний во многих отношениях была весьма плодотворной, но она ставила под вопрос саму гносеологическую автономию науки о языке. Именно эту проблему и предстояло решить в лингвистической теории в связи с локализацией языкознания в новой эпистемической ситуации, предполагающей оппозицию естественных и гуманитарных наук.

Открытие системы собственных методологических приоритетов, соответствующих специфике научных интересов, вывело развитие лингвистики на качественно новый уровень теоретического развития, на котором сама теория приобретает комплекс новых функций в системе знания, утрачивая, вместе с тем, мировоззренческое отношение к собственной предметной стороне.

В первой части настоящего пособия рассматривает процесс развития языкознания от учёности к науке, объемлющий хронологический период от античности до конца XIX века. Рассматриваются первые прецеденты теоретической рефлексии по поводу языка, становление теории языка на умоглядной философской основе и переход лингвистики к частнонаучному бытованию в эпоху господства позитивизма.

## 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ АНТИЧНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Развитие языкознания как частнонаучной дисциплины представляет собой длительный и зачастую противоречивый процесс, в котором гениальные интуитивные прозрения о сущности и законах языка теряются в абстрактных схематизациях рефлектирующего рассудка, оказываясь вовлечёнными в контекст общеметафизического понимания действительности. Это обстоятельство следует принимать во внимание при рассмотрении статуса языкознания в донаучном периоде его развития: рефлексия по поводу языка не имела самостоятельного значения вне тех задач, которые возникали в ходе практического овладения языком, и для неё не существовало иного формата, кроме того, который наличествовал в реквизитах ситуаций логического моделирования. Принимая во внимание догматическую трактовку тезиса о единстве филологии, предполагающую теоретическое подчинение задач языкознания ценностно-приоритетным проблемным тематизациям учения о стиле, языкознание античной и средневековой эпохи следует трактовать не как науку, а как учёность, сохраняющую и упорядочивающую актуальный массив фактов, относящихся к существованию того или иного языка, но не ставящую своей целью объяснение связи между ними. Языкознание будет особой разновидностью учёности вплоть до возникновения лингвистики как науки в начале XIX века. Эта ситуация накладывает специфический отпечаток на достижения языковедческой мысли, которая не имеет собственных теоретических приоритетов вне конкретного языкового материала, а также не может позволить себе задать собственную перспективу обобщения, отличную от той, что предполагается господствующими типом метафизического мышления. Рефлексия по поводу языка остаётся в пределах выявления чисто логических закономерностей, принятых в актуальном ракурсе описания взятой из него фактографии. Предполагалось, что грамматика составляет «тело», внешнюю историческую оболочку языку, тогда как логика образует его «душу». Понимание этой проблемной

конфигурации не предполагает диалектики общего и особенного, поскольку отношения между ними в теории разрешаются однозначно в пользу метафизической всеобщности. Фактическое бытование языка заключает в себе коллизию практического, а вовсе не теоретического порядка, а потому оно и не могло выйти за пределы актуальных мировоззренческих конвенций, допускавших какое-либо объяснение, способное вызвать когнитивный диссонанс и побудить к методологическим поискам. Поэтому стимул к ним приходит не столько от самого языкового материала, сколько от неразрешимых в рамках существующего формата мышления проблематизмов метафизического порядка.

Классическим прецедентом, задающим перспективу для методологических поисков в языкознании в античную эпоху, становится вопрос о природе и сущности имени. В конечном итоге, речь идёт о пределах реконструируемости мотивированных номинаций в языке, но античная мысль ставить эту проблему в абстрактно-метафизическом ключе: речь идёт о том, существуют ли имена «от природы» (фюсей) или по человеческому установлению (тесей). Наличие дизъюнкции в самой постановке вопроса указывает на чисто метафизическую абсолютизацию формата логического закона исключённого третьего. Эта проблема была поставлена Платоном в его диалоге «Кратил». Платоновский Сократ выступает в роли арбитра между Гермогеном и Кратилом, отстаивающими взаимоисключающие точки зрения на сущность языка. Представление о том, что имена существуют «от природы» не следует трактовать натуралистически. В нём содержится гораздо больше от примитивного магизма, предполагающего возможность магической власти имени над действительностью. Релятивистская точка зрения об относительности актов именованья ориентирует мысль на представление о конвенциональности номинаций. Диалог начинается с критики субъективизма в понимании номинаций, а затем ставится вопрос о правильности имён. К обсуждению предлагается целый ряд народных этимологий, выглядящих совершенно фантастически. Принимается разделение имён на божественные и человеческие,

и первым приписывается честь объективно раскрывать истинную природу вещей, тогда как человеческие имена оказываются «испорченными». Источником этой напасти являются усилия поэтов. Сократ поучал: «имена, присвоенные первоначально, уже давно погребены под грудой приставленных и отнятых букв усилиями тех, кто, составляя из них трагедийные песнопения, всячески их изменял во имя благозвучия: тому виной требования красоты, а также течение времени» [4, с.650]. Участники диалога пытаются решить вопрос об истинности имён безотносительно к речевому акту, в котором они озвучены. Это приводит их к фантастической гипотезе, что имена должны присваиваться неким законодателем-демиургом, который под присмотром профессионального диалектика даёт их таким образом, чтобы они выражали истинную природу вещей. В платоновском «Кратиле» присутствует интуитивное понимание необходимости диалектического метода, но оно блокируется то абстрактно-метафизическими представлениями, то суевериями, имеющими заведомо мифологическое происхождение. Заслуга Платона не в решении проблемы номинации в режиме жёсткой рассудочной дилеммы, а в том, что он показал, что там, где существует подобный дизъюнктивный формат, должна возникнуть и проблема мотивированности номинации.

Интуитивная, но мистифицированная и насквозь проникнутая духом холизма диалектика Платона и его последователей, оказалась совершенно бесплодной в методологическом отношении. С точки зрения запросов языкознания она представляет собой идеалистический пустоцвет, наличие которого указывает на теоретико-познавательную коллизию, но представляет её в заведомо неадекватном ключе, подчинённом логике мифологических репрезентаций. Традиционалистский дискурс платоновского холизма игнорирует творческую сущность человеческого самосознания, отражаемую в языке, усматривая в нём регламент метафизической репрезентации «вечных» в своей потусторонности идей, воплощаемых в ригидных ритуализмах мышления. Для понимания методологически-конструктивного подхода и его лимитов следует принять во внимание точку зрения А.Л.



Погодина: «Язык человека есть постоянное творчество мысли, выражение самосознания его. В то время, как произвольно вырывающееся восклицание, не имеющее, по большей части, определённо артикулированной формы, есть продукт инстинкта, подобно мимике, – слово является уже надстройкой над инстинктом. Для того, чтобы смогла возникнуть его внешняя форма, т.е. известное звуковое сочетание, было необходимо инстинктивное сотрудничество различных органов: голосовых связок, языка, губ, носонёбной занавески. Но для создания внутреннего содержания слова, его значения, потребовались весьма сложные психические процессы, в основе которых лежало когда-то, вероятно, также инстинктивное течение зрительных и слуховых образов, но которые в дальнейшем своём развитии вышли уже очень далеко из области этой образности. Поэтому, наш теперешний язык есть чисто человеческое создание, и язык ребёнка или язык дикаря представляет иные формы творчества, чем язык взрослого культурного человека. И вместе с тем язык каждого из нас в каждую минуту является новым произведением наших душевных состояний, новым творчеством» [5, с.3].

Разумеется, понимание человеческого содержания в качестве предпосылочного фактора в развитии языка не могло быть сформулировано античной мыслью напрямую, а только в режиме превращённых форм логического опосредствования. Это было связано с тем, что только в области чистой мысли, сведённой к абстрактно-всеобщей модели, человек античной эпохи мог выйти за пределы тех детерминаций жизненного уклада, которые господствовали над ним в качестве мифологического фатума. Вот почему выявление методологически-значимых для языкознания структур рефлексии требовало универсализации нормативов логического мышления, предполагающей в пределе надление логических моделей и онтологической значимостью. Последние мыслились облечёнными в плоть языка и представали в виде инвариантов грамматического дискурса.

Теоретический фундамент античного языкознания заложил Аристотель в кодексе своих логических произведений, названном впоследствии «Органон», что значит «орудие». Этот эпохальный труд включал в себя: 1) «Категории»

(грамматическое учение о частях речи), 2) трактат «Об истолковании» (герменевтическая концепция), 3) «Первую и вторую аналитики» (учение о модусах и фигурах силлогизмов), 4) «Топику» (исследование «общих мест» в доказательстве и 5) трактат «О софистических опровержениях» (разбор эристических уловок в полемической аргументации). В своём «Органоне» Аристотель исходил из неразличимости логических, грамматических и онтологических аспектов нормативов категоризации, что в ситуации античного мышления никоим образом не было ошибкой, а представляло собой единственный возможный методологический приём, обеспечивающий выразительность суждений о сущем с позиций постулата единства бытия и мышления. Онтологизм античной мысли, требующий оппозиционного гилеморфизма, устанавливающего принцип идеируемости единства формы и содержания, требовал нормативистской концепции, объединяющей на категориальном уровне грамматику, логику и онтологию. Вне этого норматива в эпоху античности представлялось невозможным обосновать рациональное познание как таковое. Вот почему в трактате «Об истолковании» Аристотель настаивает: «Итак, то, что в звуко сочетаниях, – это знаки представлений в душе, а письменна – знаки того, что в звуко сочетаниях. Подобно тому как письменна не одни и те же у всех людей, так и звуко сочетания не одни и те же. Однако представления в душе, непосредственные знаки которых суть то, что в звуко сочетаниях, у всех людей одни и те же, точно так же одни и те же и предметы, подобия которых суть представления. О последних сказано в сочинении о душе, ибо они предмет другого исследования. Подобно тому как мысль то появляется в душе, не будучи истинной или ложной, то так, что она необходимо истинна или ложна, точно также и в звуко сочетаниях, ибо истинное и ложное имеются при связывании и разъединении. Имена же подобны мысли без связывания или разъединения» [3, с.93]. Предложенный Аристотелем подход позволяет увидеть специфику языка в том способе репрезентации, который присущ человеку как конечному существу, способному производить общезначимые высказывания. Представление платоников об истинности «имён

самих по себе» выглядят на этом фоне безнадежным анахронизмом, поскольку истинность трактуется как признак высказывания о предмете в целом, а не как неотчуждаемое свойство составляющих это высказывание единиц. Это представление составляет не просто частное завоевание перипатетической философской традиции, а достижение античной мысли в целом, имеющее важные методологические последствия для последующей истории мирового языкознания.

Именно Аристотелем была предложена классификация частей речи, принятая повсеместно школьными грамматиками ради её дидактической наглядности. Этот подход даёт методологический сбой только в тех случаях, когда приходится иметь дело с языками, чей грамматический строй радикально отличен от классических. Сказанное можно отнести и к аристотелевским представлениям о функциях членов предложения: только в тех языках, в которых иначе задаётся граница между «единицами потенции» и «единицами реализации», продуктивность аристотелевского подхода может быть поставлена под сомнение, исходя из вышеприведённой дистинкции Г. Гийома. Учитывая тот факт, что такие прецеденты были недоступны для греков, это ограничение не могло приобрести статуса релевантного методологического рестриктива в теоретических представлениях античного языкознания. Не следует забывать о том, что греческие языковеды не считали нужным заниматься теоретическим осмыслением варварских языков, ограничиваясь в своих штудиях только диалектологическими различиями в эллинских наречиях, трактуемых ими нормативистски в стилистическом ключе и в плане чисто эстетическом, задаваемом ценностными нормативами суждения эстетического вкуса. Вот почему античное языкознание ограничивается грамматическими кодексами, и вот почему в эту эпоху нет развитой лексикографии. Следует согласиться с И.М. Троицким, что в античном языкознании нет нужды проводить чёткую грань между парадигматикой и синтагматикой, ибо различия между «частями речи» и «частями предложения» при помощи онтологизированной логики понятийно зафиксировать

невозможно: «Классификация слов по «частям речи», объединяющая семантические и морфологические признаки, является основой синтаксиса, т.к. слово не имеет в предложении иной функции, кроме выражения своей самостоятельной семантики. Различая в суждении субъект и предикат, античная теория видит в предложении только имена и глаголы. Атомистическое понимание предложения как сцепления элементов остаётся непоколебимым» [2, с.27]. За этой методологической установкой стоит заведомо метафизическая доктрина, принимаемая античными лингвистами интуитивно и некритически. Поэтому слово мыслится целостным как в семантическом, так и в морфологическом отношении. Античная грамматика не имеет внутреннего стимула к развитию учения о морфологических форматах слова. Эти взгляды на язык окончательно стабилизировались в системе «александрийской грамматики» и догматизировались в качестве норматива модельной ситуации и для последующей языковой рефлексии.

Если античная грамматика руководствуется онтологизированным логическим нормативом, то риторика выдвигает на передний план ценностно-эстетические критерии. Так, например, Дионисий Галикарнасский находит вопрос о количестве частей речи малоинтересным и внетеоретическим по самому своему статусу и умозаключает: «Эти-то основные части – три, четыре или сколько их ни было – своим сплетением и соположением образуют так называемые члены речи; построение членов составляет так называемые периоды, а периоды дают завершение всей речи целиком. И вот задача соединения заключается в том, чтобы естественно расположить слова по отношению друг к другу, придать колонам соответствующее построение и целую речь расчленить на периоды. В последовательности рассмотрения словесной части соединение занимает лишь второе место, ибо подбор слов первенствует и естественно предшествует ему, однако и приятность речи, и убедительность гораздо более зависят именно от соединения» [1, с.169]. Из сказанного явствует, что риторика исходит из тех же интуиций «части» и «целого», что и грамматика. Принцип «естественности» ориентирован на такое соединение слов,

которое является оптимальным для выражения титульного аффекта по заранее заданному эстетическому канону. Период, таким образом, включает в себе словесную длительность, которая признаётся «естественной» с точки зрения выражения соответствующей эмоциональной доминанты, посредством чего последняя должна приобрести востребованную интуитивность, повышающую их импрессивность. На этом настаивает и Деметрий в своём учении о стиле: «Слова, не имеющие тщательной продуманности, а как бы вытекающие сами собой, также способствуют впечатлению силы, особенно же в том случае, если мы высказываем гнев или чувство справедливого негодования, и наоборот, излишняя забота о гладкости и стройности речи создаёт впечатление не гнева, а игры и более всего говорит о желании покрасоваться своим искусством» [1, с.284]. За продуманным расчётом риторических эффектов, генерализируемых в учении о стиле, стоит та же интуиция, что и в грамматических концепциях александрийцев, восходящих к аристотелевскому воззрению на трёхсоставность категориального синтеза, в котором сплавляются воедино грамматический, логический и онтологический аспекты.

Римское языкознание, развивающееся в методологическом фарватере александрийской грамматики, не прибегает к ревизии исходных теоретических констант, выстраивая языковую рефлексию на основании допустимых аналогий. В аналогии римское языкознание усматривает также принцип, объясняющий само существование языка. Она осуществляет унификацию коммуникативного процесса в социуме. Варрон в своём труде «О латинском языке» утверждает, что «есть вообще два начала слов – установление и склонение, одно как источник, другое как ручей. Устанавливаемых имён желательнее было бы иметь как можно меньше, чтобы можно было скорее их заучить; склонённых – как можно больше, чтобы каждому легче было высказать то, что потребно в обиходе» [2, с.85]. Концепцию Варрона отличает конвенционализм и утилитарный минимализм, требующий генерализации механизмов аналогии применительно ко всем приложениям языковой системы. Подобного рода установка прослеживается и в «Топике» Цицерона: «Для определения полезны правила науки

определения. К этому роду близко и то, что, как мы сказали, называется вопросом «о чём-то и об ином», поскольку это разновидность определения. Поэтому, когда спрашивается: «Упрямство – то же ли это, что и упорство?», следует выносить суждение на основании определений. Для вопроса такого рода будут удобны также места «из последующего, предшествующего и противоборствующего», к которым надо добавить причины и следствия. Действительно, предположим, что эта вещь этой предшествует, а другой не предшествует, что у этой вещи та причина, у другой – иная, что из этого проистекает одно, а из того – другое. Всё это может пригодиться для вопроса «то же или иное?» [7, с.78]. Римское понимание языка, таким образом, фиксирует в нём топологическую целостность, в которой на основе бинарных оппозиций задаётся необратимая во времени смена индикаций для модельной ситуации логического закона исключённого третьего. При этом значимость приобретает вопрос о степени полноты аналогии, которая раскрывается языком посредством строгих дизъюнкций. Если исходить из декларированного Варроном понимания конвенциональной сущности языка, то вся известная морфологическая динамика оказывается косвенным выражением топологически-значимых дистинкций, позволяющих в языке дифференцировать аналогии по степени близости через систему родовидовых определённости.

В эллинистический период античного языкознания многие, казавшиеся незыблемыми, основоположения начинают подвергаться теоретической ревизии с точки зрения методологической состоятельности. Обнаруживаются противоречия как на предпосылочном уровне, так и в ключевых целеустановках, связанных с ценностными ожиданиями, сопровождающими существование языкознания как особой формы частнонаучного дискурса. Примечательно, что при этом не происходит никаких качественных изменений в предметно-содержательном составе знания, тематизируемом в науке и языке. Просто старые воззрения на задачи языкознания представляются либо слишком узкими, либо лишёнными проблемного содержания, совместимого с актуальными жизненными запросами. Обнаруживается нестыкуемость исторического,

технического и специфического аспектов грамматики, вследствие чего происходит её размывание как отдельной частнонаучной дисциплины, о чём свидетельствует скептический философ Секст Эмпирик: «Нельзя, однако, мыслить эти части грамматики как части в точном смысле или таким образом, как говорится, например, что частями человека являются душа и тело. Ведь эти части мыслятся как отличные одно от другого. Техническая же часть, историческая и та, которая относится к изучению поэтов и писателей, содержат большое взаимное сплетение и смешение. Именно, исследование поэтов не бывает вне технической и исторической части, а каждая из этих последних не существует без переплетения с прочими... Говорим же мы вначале об этом разделении не понапрасну, но для понимания того, что если доказать неустановленность какой-нибудь одной из них, то принципиально оказались бы опровергнутыми и прочие части, поскольку ни одна из них не существует без этой опровергнутой» [6, с.71]. Скептический мыслитель показывает 1) недостоверность исторической части, исходя из дефицита фактических сведений, 2) несовершенство технической части, ссылаясь на противоречия в дефинитивном базисе, а также 3) узость специфической части, строящейся на неподтверждённой гипотезе транзитивности идиом индивидуального стиля. Что же касается риторики, то Секст Эмпирик не менее категоричен в своих выводах: «если не существует никакой речи, то не существует и доказательства, поскольку оно является какой-то речью. Но как мы установили, речь ни в коем случае не существует вследствие того, что она не имеет бытия ни в звуках, ни в бестелесном словесном» [6, с.142]. Мыслитель справедливо указывает на то, что риторика не обладает рациональным определением речи, что делает невозможным и рациональное знание о ней. Итак, общий кризис античного языкознания выразился а) в осознании произвольности исходных догматических предпосылок, б) в размывании дисциплинарной структуры науки, с) в деградации прогностической функции знания. С пониманием этих коллизий античное языкознание осознаёт себя в качестве учёности, не претендующей на статус науки.

### Список используемой литературы

1. Античные риторики. М.: Изд-во МГУ, 1978. 352 с.
2. Античные теории языка и стиля (антология текстов). СПб.: Алетейя, 1996. 368 с.
3. Аристотель. Сочинения в 4 т. М.: Мысль, 1978. Т.2, 687 с.
4. Платон. Собрание сочинений в 4 т. – М.: Мысль, 1990. Т.1, 860 с.
5. Погодин А.Л. Язык как творчество/психологические и социальные основы творчества речи); Происхождение языка. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 560 с.
6. Секст Эмпирик. Сочинения в 2 т. М.: Мысль, 1976. Т.2, 421 с.
7. Цицерон. Эстетика: Трактаты. Речи. Письма. М.: Искусство, 1994. 540 с.



## 2. ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КОММЕНТАТОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ВЫЗОВ ГУМАНИЗМА

Характеризуя в целом языковедческую мысль Средневековья, необходимо принять во внимание то обстоятельство, что формы языковедческой рефлексии в эту эпоху несут на себе неизгладимую печать своего дидактического генезиса. Это значит, что видение языка в целом, будучи ограниченным частными дидактическими задачами, оказывается предопределённым к характерному для классической эпохи веры мировоззренческому консенсусу, в границах которого слово как таковое оказывается поводом для обращения к Слову в его сакральном смысле и в догматизированном виде. Выражением этого положения дел становится средневековая комментаторская культура, существование которой обусловлено разрывом между повседневной жизнью с её народным языком и признанными способами удовлетворения метафизической потребности, практикуемыми в связи с анахроническим бытованием «классического языка». В ситуации духовного отчуждения человека от собственного мышления, переживаемого в классическую эпоху веры, комментаторская культура создаёт прецедент условной легитимации человека в Вечности, который требует особого переживания связи человека со Словом, заключающим в себе указание на возможность приобщения ума к высшему и метафизическому порядку, в границах которого всё конечное человеческое несовершенство оказывается снятым. Комментаторская культура оказывается концентрированным выражением религиозной иллюзии как таковой, вследствие чего она остаётся учёностью, которая не может обрести рефлексивного разрешения в науку. Средневековое языкознание отражает принципиальную ограниченность схоластического мышления, замыкаемого в кругу собственных логических моделей, в пользу истинности каждой из которых говорит только её совместимость с целым рядом аналогичных образований.

Средневековое языкознание, остающееся в границах дидактических установок схоластической учёности, обречено на

методологический догматизм, вследствие чего горизонт его обобщения задаётся метафизическими абстракциями теологизирующего мышления. Этим объясняется гипертрофия логического компонента и отсутствие интереса к живым языкам, которые в тот период находятся в стадии исторического становления. Будущим национальным языкам только предстоит состояться в качестве устойчивых коммуникативных регламентов с необходимыми тематическими регистрами, отражающими жизненную диалектику нормы и узуса. Следует принять во внимание то обстоятельство, что в классическую эпоху веры владение родным языком рассматривается как некий «естественный факт», а потому и культура преподавания родного языка отсутствует. Письменность носит региональный характер, отражая специфику диалектальной дифференциации. Образцом для нормотворческих инициатив, если таковые предпринимаются по отношению к родному языку, становится язык классической древности, чьи грамматические особенности некритически проецируются на материал, обнаруживаемый в языке повседневного общения. Вот почему книжность на родных языках не предполагает развитого эстетического чувства и подавляет назидательностью и общим чувством духовной несвободы. Средневековые языковеды в своих интересах ориентированы на классические языки и озабочены способом оптимизации дидактического концепта грамматики с оглядкой на нормативы абстрактного логицизма.

Языковедческая рефлексия классической эпохи веры ограничена дисциплинарными рамками схоластического «тривиума» в системе дидактического консенсуса «семи свободных искусств», практикуемого в нормативистском ключе комментаторской культуры. У истоков концепции «семи свободных искусств» стояли Квинтиллиан и Флавий Кассиодор. Тем не менее, особая роль в определении методологических приоритетов принадлежала «отцу схоластики» – А.М.Т.С. Бозцию. Именно им в «Комментарии к Порфирию на «Категории» Аристотеля» была сформулирована проблема универсалий, составляющая «основной вопрос» средневековой философии и образующая методологический регулятив для

рефлексии по поводу языка. Суть вопроса состоит в том, обладают ли общие понятия онтологическим статусом, или же они представляют собой только ментальные отражения общих черт в индивидуальных вещах. Бозций следующим образом формулирует характер этой теоретической задачи: «А если роды и виды существуют, но не единые по числу, а многочисленные, то не будет последнего рода, но над всяким родом будет другой, вышестоящий, чьё имя включит в себя всю эту множественность: точно так же как множество живых существ требует объединения их в один род потому, что у всех них есть что-то похожее, но тем не менее они – не одно и то же – также и род, множественный оттого что находится во многих, имеет своё подобие – другой род, тоже не единый оттого, что во многих, и для этих двух родов требуется третий, общий род, а когда он будет найден, тотчас же, по вышеизложенным соображениям, придётся искать новый, общий для первых двух и третьего; таким образом, рассудок по необходимости будет уходить в бесконечность, ибо никакого логического предела здесь нет» [3, с.25]. Бозций воспроизводит в своих размышлениях аргумент «третьего человека», выдвинутый Аристотелем в полемике с платоновской теорией идей. В этой связи методологически-оптимальным можно было бы считать такое решение проблемы универсалий, которое позволяло бы гарантированным образом избежать ухода в бесконечность через умножение сущностей. Основная же сложность состояла в том, что такой методологически-гарантированный оптимизм должен был быть сверх того и приемлемым в теологическом плане. Это пожелание, собственно говоря, и сделало проблему универсалий неразрешимой метафизической проблемой, так как ни крайний платонизирующий реализм, ни умеренный реализм в перипатетической редакции, ни крайний номинализм, ни терминизм в качестве критического номинализма этому требованию в силу разных причин не соответствовали. Схоластика вынуждена была пойти на путь компромисса между методологическими требованиями и мировоззренческими показаниями. В итоге языковедческая рефлексия оказалась стеснённой в плане предоставленного ей набора допустимых и рекомендованных к применению исходных предпосылок.

На исламском Востоке ситуация была сходной, но более оптимистичной. Это было связано с тем, что языком международной учёности здесь стал не мёртвый язык (как латынь в Европе), а живой арабский язык. Указанное обстоятельство способствовало интенсификации дидактических поисков и созданию классификаций, более адекватно отражающих место языкознания в системе наук, а также детализирующих его внутренний дисциплинарный консенсус. Примером такого подхода является «Слово о классификации наук» великого казахского философа, логика и математика Аль-Фараби, которому на Востоке был присвоен титул «Второй учитель». В этом труде, обращаясь к вопросам языкознания, Аль-Фараби указывает на двухчастность самой науки о языке, что свидетельствует о наличии рефлексии по поводу различия языковых единиц и законов их сочетаемости: «Наука о языке в целом состоит из двух частей. Первая из них: запоминание слов, засвидетельствованных у какого-либо народа, и знание того, что каждое из них означает. Вторая: знание законов, этими словами управляющих. А законы в каждом искусстве суть универсальные, то есть всеобъемлющие суждения» [2, с.109]. Основоположник восточного перипатетизма избегает метафизического понимания языка в терминах абстрактной умозрительной всеобщности, обращая внимание на необходимость разграничения субэлементарных единиц на уровне словообразования и лексически-значимых единиц в словосочетательном порядке. Аль-Фараби считает, что языкознание применительно к любому языку должно соответствовать семичастной дисциплинарной схеме и включать в себя: 1) науку о простых словах, 2) науку о словосочетаниях, 3) науку о законах спецификации простых слов, 4) науку об образовании словосочетаний, 5) орфографию, 6) орфоэпию и 7) науку о правилах стихосложения. «Второй учитель» чётко разграничивает задачи логики и грамматики, не считая при этом нужным резервировать за поэтикой и риторикой статус отдельных дисциплин, усматривая в них производные узуальные структуры языковедческой рефлексии, лишённые особых предметных признаков. Подход Аль-Фараби характеризуется наличием методологической рефлексии и

логической зрелостью. Схоластическая мысль средневековой Европы, признающая авторитет Аристотеля, оказывается в плену его подхода, мировоззренческие основания которого, однако, схоластическими комментаторами сначала теряются, а потом домысливаются на новых мировоззренческих основаниях.

Внутри самого аристотелевского учения нет нужды разводить логический, грамматический и онтологический аспекты применительно к категориям. Схоластика, руководствуясь проблемной интенцией классической эпохи веры, вносит в контекст аристотелевского учения о категориях такие дистинкции, которые самим Философом изначально не имелись в виду. Так, например, средневековый концептуалист П. Абеляр стремится выяснить, о какой речи применительно к категориям следует вести разговор, по его собственному признанию, «тем самым подразумевая, что двусмысливается как имя «звук» – относительно воздуха и меры его напряжённости, – так и слово «речь», как это прояснится в трактате о количестве, когда будет обсуждаться, что такое речь. Если, допустим, дело касается субстанциальной речи, а не количественно измеряемой, то либо выдвигают неудачные возражения относительно того, что она субстанция, либо также неудачно, её исключают из субстанций, хотя она – субстанция. Если же разговор идёт о количестве измеряемой речи, то те, кто утверждает, что сами меры не слышатся и ничего не означают, но есть только звучащий воздух, неудачно возражают против того, что истина и ложь свойственный самой речи» [1, с.102]. Такой подход вполне симптоматичен для «сермонизма» как средневековой редакции концептуализма, в соответствии с которой универсалии существуют «в уме», относительно которого ещё нужно уточнить, является ли последний божественным или же человеческим. Очевидно, что подобного рода метафизические запросы не позволяют выявить специфику собственно лингвистической рефлексии.

Тем не менее, именно схоластическая мысль установила различие между «естественными терминами» (понимая под последними совокупность модификаций разумной души в ментальной пропозиции) и «терминами конвенциональными»

(образующими озвученную оральную пропозицию). Именно схоластика разделила термины на «категорематики» и «синкатегорематики», сделав важный шаг к пониманию различия между автосемантическими и синсемантическими единицами в языке. В терминизме, то есть критическом номинализме У. Оккама ставится вопрос о различии между коннотативными и абсолютными именами. Примечательно, что проблема различия импозиций, согласно У. Оккаму, релевантна только применительно к произвольно установленным терминам: «Имена вторичной импозиции суть имена, налагаемые для обозначения произвольно установленных знаков и того, что сопутствует таковым знакам, но только до тех пор, пока они являются знаками» [8, с.19]. Смысл этой оговорки можно обосновать номиналистически, а вот саму дистинкцию можно применять безотносительно к исходному теоретико-методологическому базису. Налицо феномен отчуждения познавательного результата мысли от способа его обоснования, составляющий характерную особенность не только схоластического языкознания в логическом формате, но и всей схоластической мысли в контексте комментаторской культуры в целом.

Важной вехой на пути обособления языковедческой рефлексии от логики можно считать трактат Фомы Эрфуртского о модусах обозначения, приуроченный к спекулятивному рассмотрению проблем грамматики. Различая активный и пассивный модус обозначения, мыслитель-схоласт впервые ставит вопрос о функциях в сигнификативном акте. В активном модусе выявляется свойство речи, присвоенное ей разумом, тогда как в пассивном вскрывается свойство вещи, которое она получает в той мере, в какой она обозначена речью. Фома Эрфуртский писал: «когда разум использует речь для обозначения и соозначения, он наделяет её двумя функциями, а именно: функцией обозначения, называемой обозначенным, посредством которой образуется знак или обозначающее, – такова формальная сторона слова, и функцией соозначения, посредством которой значащая речь становится со-знаком или соозначающим, – такова формальная сторона части речи» [9, с.288]. Примечательно, что в этой связи затрагивается вопрос о

статусе внутренней деятельной причины. Тем самым функциональные дистинкции оказываются логически увязанными с вопросом о факторах коммуникативного динамизма, который мог быть теоретически сформулирован на должном уровне только Пражской школой в XX веке. При этом едва ли можно признать продуктивным понимание «спекулятивной грамматики» в ключе «универсальных рациональных грамматик» Нового времени. Такую интерпретацию с полным правом можно считать ретроспективной историцистской проекцией, рассчитанной на поиск поверхностных аналогий, и легитимацию последней в фабульных конструктах истории языкознания.

При переходе от средневековой комментаторской культуры к гуманистическому дискурсу Возрождения возникали интересные теоретические концепции, намечающие проблемный локус будущей семиотики. Примером тому может служить учение Николая Кузанского о «космографе», в котором человек уподобляется городу с воротами, в которые входят знаки сообразно различиям перцептивных каналов. В своём «Компендии» Николай Кузанский писал: «Природные знаки суть идеи единичных означаемых. Эти идеи – не формирующие формы, а информирующие формы. Информированные как таковые допускают больше и меньше: один более информирован, чем другой, и один и тот же сейчас информирован меньше, потом больше. Такие информирующие формы могут быть у многих, поскольку не требуется, чтобы они были у них в том же модусе бытия, – этот модус неповторим, – а достаточно, чтобы они по-разному присутствовали в разном...» [7, с.325]. Согласно учению Николая Кузанского, информирующие формы выступают знаками чувственного подобия, а формирующие – знаками подобия умопостигаемого. В дальнейшем в трактате «Охота за мудростью» великий спекулятивный диалектик прибегнет к методу полевого моделирования областей подобия, предвосхитив «метод полей» неогумбольдтианцев Й. Трира и Й.Л. Вайсгербера, получивших признание в лингвистике XX века в первую очередь в лексикологии, а впоследствии и в связи с вопросом о функциональной синонимии выразительных средств.

Замечательным интуициям Николая Кузанского ещё только предстоит дать квалифицированную научную оценку с позиций современной лингвистики.

Упадок средневекового миросозерцания не был одномоментным событием, а представлял собой сложный и многоуровневый процесс, приведший к возникновению ренессансной концепции, а вместе с ней и нового понимания задач науки о языке. Гуманистическое мировоззрение начиналось с филологических штудий античности, вызвавших к жизни потребность в развитии лексикографии и текстологии, но не следует забывать, что параллельно происходил процесс исторической кристаллизации национальных новоевропейских языков. Возрожденческая мысль получает мощный стимул от этих вполне объективных процессов. Свидетельством тому служит размышление Данте «О народном красноречии», в котором итальянский поэтический гений ставит вопрос о культивировании складывающегося национального языка. Данте писал: «роду человеческому для взаимной передачи мыслей надобно обладать каким-либо разумным и чувственным знаком; потому что для восприятия от разума и для передачи разуму знак должен быть разумным; а так как ничто не может быть передано от разума к разуму иначе, чем чувственным средством, знак должен быть чувственным. Таким образом, если бы он был только разумным, он не мог бы проникать, а если бы только чувственным, его невозможно было бы воспринято разумом, ни в разум вложить. Вот этот-то знак и есть тот самый разумный предмет, о котором у нас идёт речь: он чувственный, поскольку звук, но и разумный, поскольку очевидно, обозначает то, что нам угодно» [6, с.287]. Если средневековая мысль обнаружила в знаке такое свойство, как интенциональность, то принципиальной новацией возрожденческой мысли становится, как то следует из размышлений Данте, его произвольность. Этот тезис возникает из идеи достоинства человека и вполне адекватен её гуманистическому мировоззренческому содержанию, но в нём заключён и форматив будущего научно-лингвистического представления о конвенциональной сущности знака, не манифестирующего порядка природы и не обладающего над ней



реальной властью. Так происходит окончательный отказ от установок примитивного магизма, мешавших развитию науки о языке. Из сказанного становится очевидным, что этот методологический шаг включает в себе гуманистический вызов с громадным мировоззренческим потенциалом.

Симптоматично и то обстоятельство, что языкознание в составе гуманистической филологии становится мощным фактором в борьбе с отжившим средневековым мировоззрением, включая, в том числе, и политические аспекты общемировоззренческой конфронтации. Наглядным примером тому служит деятельность итальянского филолога-гуманиста и философа-гедониста Л. Валлы. Ему принадлежит честь разоблачения принципиальной документальной фальшивки, так называемой «Дарственной Константина», посредством которой папство обосновывало легитимность своих притязаний на светскую власть. Л. Валла провёл историко-филологическую экспертизу и посредством текстологического анализа показал подложность этого «документа». Следует отметить, что Л. Валла подверг гуманистической критике и схоластическую рецепцию аристотелевского учения о категориях, на котором строилась средневековая учёность: «Часто случается, что меня охватывает сомнение, касающееся тех многочисленных авторов, которые писали об искусстве диалектики: заслуживают ли они осуждения за невежество, за тщеславие, за лукавство или же за всё сразу? Ибо, когда я рассматриваю их не менее многочисленные ошибки, которыми они, как очевидно, в не меньшей степени вводят в заблуждение самих себя, чем других, я отношу их к небрежности или к человеческой слабости. Когда же, напротив, они излагают в бесконечных книгах что-то такое, что, как я считаю, можно было бы свести в самые краткие правила, то какая же иная причина этого, думаю я, если не пустое тщеславие; разве они не радуются, когда видят лозы, притянувшиеся по винограднику там и сям, и не портят культурный виноград диким?» [5, с.351]. Этот ход мысли сказался и в гипотезе Л. Валлы о «порче языков». В ней, пусть и в превратной форме, был поставлен вопрос о факторах исторического развития национальных языков. Л. Валла ошибочно полагал, что существующие европейские языки

представляют собой результат порчи латыни варварами. Тем не менее, проблема историзма в языкознании была поставлена.

Эпоха Возрождения привела к развитию классической филологии, что выразилось в создании основательной дидактической базы для построения грамматик – сначала классических языков, а затем и национальных. Именно с этого времени можно говорить о востребованной лексикографической продукции и о первых опытах создания словарей живых национальных языков. Крупнейшими филологами того времени были Эразм Роттердамский (внёсший неоченимый вклад в развитие классической филологии) и И. Рейхлин (ставший основателем европейской гебраистики). В «Похвале глупости» Эразм Роттердамский в ироническом виде показал роль науки о языке в современных ему религиозных и идеологических конфликтах: «Как будто стоит заводить войну, ежели кто примет иной раз союз за наречие!» [4, с.170]. Духу эпохи, однако, была чужда эта ирония: развитие языкознания привело к появлению переводов Библии на национальные языки, а в перспективе – к Реформации и к возникновению полноценных национальных литератур, в которых выразился опыт нравственного самоопределения человека на основе ценностных приоритетов Нового времени.

### Список использованной литературы

1. Абельяр П. Тео-логические трактаты. М.: Прогресс-гнозис, 1995. 413 с.
2. Аль-Фараби. Философские трактаты. Алма-Ата: Наука, 1972. 430 с.
3. Бозций А.М.Т.С. «Утешение философией» и другие трактаты. М.: Наука, 1990. 416 с.
4. Брант С. Корабль дураков. Эразм Роттердамский. Похвала глупости. Навозник гонится за орлом. Разговоры запросто. Письма тёмных людей. У. фон Гуттен. Диалоги. М.: Художественная литература, 1971. 490 с.
5. Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. М.: Наука, 1989. 490 с.

6. Данте А. Малые произведения. Пир. О народном красноречии. Монархия. СПб.: Terra-Азбука, 1996. Т. 5, 656 с.
7. Николай Кузанский. Сочинения 2 т. М.: Мысль, 1980. Т. 2, 471 с.
8. Оккам У. Избранное. М.: Едиториал УРСС, 2002. 272 с.
9. Савельев А.Л. История науки универсальной грамматики. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2006. 383 с.

### 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЯЗЫКОЗНАНИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ И МЕТАФИЗИКА КЛАССИЧЕСКОГО РАЦИОНАЛИЗМА

Научная мысль Нового времени ознаменована поворотом к идеалу математизации познания и абсолютизацией логического критерия аналитической истинности. Мышление в целом носит метафизический характер: оно опирается на догматические предпосылки, апеллирует к их очевидности и рассматривает «вещь» в качестве единственной реальности. Метафизическому мышлению свойственно принимать тезис о том, что истина познаётся рассуждением, что предполагает принципиальную исчерпаемость предмета определениями мысли. Этот ход мысли неизбежно приводит к представлению о необходимости метода, опирающегося на аподиктически-достоверные исходные положения, на основе которых будет осуществляться формальная аксиоматизация всякого возможного познавательного материала. В познании культивируется принцип дефинитивности, а представление в его логической непротиворечивости принимается за масштаб реальности. Возникают великие метафизические системы, в которых «геометрический метод» задаёт границы возможного обобщения. При этом возможным надлежит считать то, что мыслится без противоречия, действительным – то, что подводится под прецедент закона достаточного основания, позволяя сосуществовать максимуму комплементарных совозможностей, а необходимым – то, противоположное чему нельзя помыслить без противоречия. Реальность сводится к сумме позитивных свойств вещи, следовательно, её сущностная полнота исключает из своего состава понятие отрицания. Поэтому сущность реальности надлежит мыслить вечной и неизменной. На основании перечисленных принципов новоевропейская мысль практикует познавательный оптимизм в рамках механистической картины мира.

Новоевропейское мышление делает ставку на аксиоматизацию интуитивных очевидностей, предполагающую «геометрический метод», опирающийся на процедуру

квантитативной симплификации, посредством которой все качественные различия упраздняются, оказываясь сведёнными к различиям чисто количественного плана. Это приводит к отказу от «скрытых качеств», веру в которые культивировала схоластика. Предполагается, что «геометрический метод» способен дать познанию желанную достоверность, но на деле он придаёт операбельность только тем аспектам существующего математического мышления, которые исчислимы по показаниям существующего математического мышления. Природа математизируется, но важно понимать, что создать математическую модель природного явления – не значит его познать на уровне сущностных отношений, коль скоро математика имеет дело с объектами произвольной природы. В подобной интеллектуальной атмосфере расцветает абстрактный логицизм, а вместе с ним возникает и представление о языке как о рациональной модели абстрактной всеобщности. В рамках такого допущения различия между реально существующими языками начинают представляться несущественными. Предполагается, что они относятся к внешней стороне дела, что язык представляет собой лишь внешнюю оболочку, некий «костюм» мысли. Это значит, что язык сводится к мышлению и за ним закрепляется исключительно рассудочная сущность. Выражения аффектов, имагинации и мемориальные установки, а также волюнтаривные импульсы надлежит представлять как модификации мысли, не имеющие самостоятельного значения.

В XVII веке предпринимаются попытки создания «универсальных рациональных грамматик», основанных на принципах абстрактного логицизма. Уже у Я. Бёме немецкого оккультного мыслителя и теософа, появляется гипотеза о всеобщем и изначальном языке, на котором в Раю до грехопадения говорили прародители, выражая саму сущность вещей. Великие рационалисты увидели эту всеобщность не до истории языка, а внутри самих логических моделей, описывающих язык. В Испании Ф. Санчес создал универсальную грамматику «Минерва», задача которой состояла в том, чтобы раскрыть общие и сущностные законы языка, сводя последние к формализмам логических моделей. Русский просветитель

сербского происхождения Ю. Крижанич создал труд о русском языке, намереваясь превратить русский язык в язык славянских народов, руководствуясь религиозными и идеологическими устремлениями. Но самым значимым событием этого ряда стала «универсальная рациональная грамматика», созданная «философами Пор-Рояля». В этом монастыре впервые была предпринята попытка организовать на научной основе изучение живых иностранных языков. Центральной фигурой среди философов Пор-Рояля был А. Арно – ведущий теоретик янсенизма в католическом богословии и провозвестник «августиновского Ренессанса», а также выдающийся математик того времени. В своём труде «Логика, или Искусство мыслить», написанном в соавторстве с П. Николем, А. Арно видит задачу логики в том, «чтобы, размышляя над действиями нашего ума, мы глубже познали его природу» [2, с.31]. Созданная «философами Пор-Рояля» логическая концепция составляет инвариант структурной подачи логического знания в Новое время, сохраняющий свою нормативную значимость и по сей день. «Логика Пор-Рояля» содержит в себе учение о представлении (понятии), суждении, умозаключении и о методе, в качестве которого выступает пресловутый «геометрический метод». Этот метод Арно и Николь сводят к восьми основным правилам, из которых первые два устанавливаются для определений, два последующие – для аксиом, ещё два – для доказательств и, наконец, для самого метода. Суть этих правил такова: 1) отказаться от неясных или многозначных терминов, 2) пользоваться только ясными терминами, 3) аксиоматизировать только очевидности, 4) интуитивно понятные без рефлексии, 5) доказывать все неясные положения, 6) совершая подстановку дефиниций на место терминов, 7) рассматривая вещи в порядке их естественной данности в опыте, 8) добываясь полноты анализа. Философы Пор-Рояля полагали, что исполнение этих требований достаточно для осуществления правильного познания, что свидетельствует не только об их познавательном оптимизме, но и о минималистском подходе к базовым методологическим принципам.

Важным достоинством логики «Пор-Рояля» является обозримость её аксиоматического фонда. Он включает в себя: 1) аксиому ясности и отчётливости, 2) аксиому логической непротиворечивости, 3) аксиому детерминизма (из которой вытекают четыре последующих, образующих её королларии), 4) аксиому тождества, 5) аксиому эминентного каузального реализма, 6) аксиому инерции, 7) аксиому сохранения движения, 8) аксиому интуитивного предпочтения, 9) аксиому несоизмеримости бесконечного и конечного, 10) аксиому авторитетного свидетельства и, наконец, 11) аксиому общезначимости. Следует понимать, что предложенная аксиоматика представляет собой набор «общих мест» классической метафизики, то есть каталог топологических очевидностей рассудочного мышления. Философы Пор-Рояля, однако, сознавали, что геометрический метод «далеко не всемогущ». Об этом свидетельствует тот факт, что А. Арно и П. Николь специально обращают внимание на недостатки предложенного ими метода, каковых насчитывается шесть: 1) забота скорее о достоверности, чем об очевидности, 2) доказательство самоочевидных истин, 3) демонстративность от противного, 4) косвенная демонстративность, 5) нарушение естественного порядка и 6) неполнота классификационных дистинкций. Философы Пор-Рояля полагали, что эти недостатки случайны и могут быть устранены посредством актов рефлексии. Исходя из принятого аксиоматического фонда, можно приступить и к решению вопроса о методе логической генерализации познания языковых явлений.

«Универсальная рациональная грамматика Пор-Рояля», созданная А. Арно в соавторстве с К. Лансло, представляет собой образец практического применения принципов рационализма к проблемам языкознания. Философы Пор-Рояля подходят к языку метафизически, с позиций абстрактного логицизма, абсолютизируя тот аспект его структуры, который допускает методологическую аксиоматизацию реквизитов модельной ситуации. Примечательно, что А. Арно и К. Лансло исходят из признания конвенциональной сущности языка, трактуя грамматику как «искусство речи», возвышающегося над

порядками детерминаций «первой природы». Классический рационализм предполагает, что назначение языка состоит в передаче мыслей, но сами мысли при этом не имеют никакой иной предметной адресации, кроме передачи вещественных характеристик. Это значит, что процессы и состояния не существуют сами по себе в предметном качестве, а представляют собой рефлексы вещей. Философы Пор-Рояля исходят из номинативного, а не вербального видения мира, принимая за образец картину мира, которую даёт латынь и генетически связанный с ней французский язык. Возникает опасность придания статуса «вечных истин разума» некоторым особенностям латыни как языка, в котором задаётся базовая модельная ситуация. В языке, понятом в качестве частной оперативной системы, конкретизирующей в материале универсальные законы логики, исполнимы три основных операции – 1) созерцание, 2) суждение и 3) умозаключение. В сущности, все три оперативных плана приурочены, в конечном итоге, только к вещам, о чём свидетельствует следующее признание А. Арно и К. Лансло: «Созерцание – не что иное, как простой взгляд рассудка на вещь, либо чисто духовный, как, например, в тех случаях, когда представляем себе существование, длительность, мысль, Бога; либо соотнесённый с телесным образами, как в тех случаях, когда мы представляем себе квадрат, круг, собаку, лошадь» [1, с.90]. Рационалистическое мышление знает только вещи, находя в понятии «вещи» предел и горизонт доступного теоретического обобщения. Названные особенности пор-рояльского понимания языка можно считать симптомами абстрактно-метафизической ограниченности логицизма в понимании языка, свойственными рационалистической эпохе, а можно видеть в них указание на тенденцию к содержательной дефицитарности, присущей всем формалистическим доктринам.

Абстрактный логицизм, произрастающий на почве догматической метафизики классического рационализма, усматривает в языке только внешний конвенциональный комплекс, воспроизводящий всеобщие законы мышления в материале, приобретаемом сообразно условиям времени и места. Его ограниченность сказывается в непонимании роли факторов



коммуникативного динамизма и в представлении о том, что единственной задачей языка является выражение правильного порядка мыслей. Тем самым игнорируется тот факт, что человек есть существо не только мыслящее, но и аффективное, волящее и фантазирующее. Рационалистическая метафизика усматривает в аффектах, актах воли и в имагинациях всего лишь случайным образом поданные и деформированные мысли. Кроме того, с позиций абстрактного логицизма невозможно разграничить познавательные задачи, предполагающие наличие научной новизны, и задачи чисто дидактические, ибо в составе логики таких критериев попросту нет, коль скоро аналитическая истинность логики вообще рассчитана на классификацию уже известного и познанного. Поэтому вполне естественно, что теоретическим прибежищем абстрактного логицизма в языкознании становится дидактика. Коль скоро последняя назидательна, она тяготеет к наглядности, служащей почвой для формирования интуитивно-правильных установок. Именно поэтому дальнейшее развитие абстрактного логицизма в языкознании будет связано с созданием всеобъемлющих дидактических систем, рассчитанных на синтез формата новой субъективности. Классическим примером можно считать «Великую дидактику» Я.А. Коменского, великого чешского педагога и (по его собственному мироощущению) религиозного реформатора. Я.А. Коменский является создателем классно-урочной системы, отстаивающим необходимость учёта принципов возрастной психологии в процессе обучения, который должен осуществляться на основе дидактической наглядности. Коменским была впервые обоснована необходимость «школы родного языка» и выведены принципы культивирования национальных языков. Следует признать, что этим его интерес к языку не исчерпывался, поскольку кроме прагматических задач он ставил и задачи глобального масштаба, представлявшие его современникам утопическими.

Я.А. Коменский видел себя реформатором человеческого социума, о чём свидетельствует его главный и эпохальный утопико-философский труд «Вселенский совет об исправлении дел человеческих». Эта реформа должна была осуществиться

ненасильственно, путём распространения всеобщего просвещения. Великий реформатор руководствовался идеалами экуменизма, пацифизма и космополитизма. Его концепция опиралась на метафизические основания классического рационализма и предполагала протестантские духовные инспирации, связанные с понятием нравственной автономии человека. Я.А. Коменский посвящает идее всеобщей культуры языков отдельную книгу в труде, ставшем для него делом жизни, – «Панглоттию». Мыслитель исходит из идеалистического представления о том, что причиной конфликтов между людьми является недостаток взаимопонимания. Тех же воззрений впоследствии уже в XIX веке придерживался и создатель языка Эсперанто Л. Заменгоф. Я.А. Коменский видит в разноязычии дело рук дьявола, препятствующего распространению в мире света евангельской истины. Преодоление разноязычия предполагает борьбу с варварством, но процесс этот следует вести поэтапно. Начинать следует с создания «школы родного языка», затем вводить полиглоттию, предполагающую введение всеобщего совершенного языка. По мнению великого реформатора, ни один из существующих языков в его наличном виде не годится на эту роль, так как достоинства этих языков имеют в недостатках свою обратную сторону: 1) древнееврейский исконен, но перегружен омонимиями, 2) греческий богат, но вариативен в диалектальном отношении, 3) латынь универсальна, но её морфология слишком детализирована и регламентирована, 4) в славянском чувствуется естественная основа, но он неблагозвучен, 5) германский язык обладает рациональными моделями словосложения, но корни его допускают аномалии. Я.А. Коменский предпочитает развивать моноглоттию на чистой априорной основе, и тогда в таком языке можно будет прибегнуть к идеографической письменности, сигнатуры которой могли бы допускать аксиоматизацию посредством «геометрического метода». Мыслитель полагал, что всеобщая культура языков, развившаяся до цивилизованной моноглоттии может стать предпосылкой исправления духа во всём человечестве: «На основе всего сказанного можно было бы уже исправлять состояние знания, веры и общественного

устройства, по воле Божией вводя во вселенной век просвещения, веры и мира» [4, с.181]. Итак, в рамках рационализма рождается гипотеза о том, что единство языков надо искать не позади истории, не в мифе, а впереди – в развитии человеческого мышления на началах логического априоризма.

Концепция логической универсализма, приложимого к языку, будучи вскормленной реформистской дидактикой, нашла своё развитие в системах классической метафизики как каузалистского, так и субстанциалистского типов. Из каузалистских доктрин вызывает наибольший интерес учение Т. Гоббса, который подошёл к проблемам языка с позиций последовательного номинализма, создав учение о «метках», посредством которых рассудок маркирует общие признаки в вещах. Т. Гоббс сформулировал дефиницию предложения: «Предложение есть словесное выражение, состоящее из двух соединённых связкой имён, посредством которого говорящий хочет выразить, что он относит второе имя к той же самой вещи, которая обозначается первым, или (что то же самое) что первое имя содержится во втором» [3, с.93]. Подход Т. Гоббса, заявленный им в «Элементах философии», предполагает не просто номиналистский догматизм, ориентирующий на номинативную языковую картину мира, но и видение языковых отношений через призму отношения исключительно логических объёмов, а не содержательных аспектов понятия. Гоббс различает конкретные и абстрактные имена, а на основе технических логических дистинкций строит классификацию предложений. Пропозиции делятся на всеобщие, частные, неопределённые и единичные с точки зрения количества. По признаку качества они делятся на утвердительные и отрицательные. На этом делении основывается и эпистемический подход, позволяющий различать истинные и ложные высказывания. Далее можно выделить оппозицию первоначальности и производности высказываний. Следующей оппозицией является деление на необходимые и случайные высказывания. Последней значимой дистинкцией выступает противопоставление категорических и гипотетических пропозиций. Все эти аспекты гоббсезиева анализа принадлежат логике, и в свете её принципов она рассматривает синтаксические

связи: отношение субординации и координации Т. Гоббс рассматривает через призму отношений в «логическом квадрате» М. Псёлла. Примечательно также, что формулируя дефиницию имени, философ настаивает на произвольности номинации и конвенциональности значения. Этот подход вполне гармонирует с его воззрениями на характер общества в русле теории «естественного права» и «общественного договора».

Своего высшего развития абстрактный логицизм в понимании языка достигает в русле субстанциалистских метафизических систем. Речь идёт, прежде всего, о доктрине субстанциального плюрализма, созданной Г.В. Лейбницем, названной им «системой предустановленной гармонии» и разработанной в частных дидактических приложениях Х. Вольфом. Опираясь на теорию «врождённых идей», отстаиваемую им в его гносеологической полемике с основоположником британского сенсуализма Дж. Локком, Г.В. Лейбниц выдвигает принцип априоризма и указывает на него как на источник теоретико-познавательной активности субъекта. Исходя из априористских подходов, Г.В. Лейбниц предпринимает опыт фронтальной логической формализации всей системы языковых отношений. Обладая гениальным математическим умом и опираясь на энциклопедические познания как в естественных, так и в гуманитарных науках, Лейбниц сформулировал идею «языка исчислений» в духе кибернетической алгоритмизации языковых формализмов и разработал учение об «универсальной характеристике». Эта концепция позволяет трактовать язык с позиций «математики разума». В своём концептуальном проекте «Элементы универсальной характеристики» Г.В. Лейбниц писал: «Правило построения характеров следующее: всякому термину (то есть субъекту или предикату предложения) приписывается какое-нибудь число при соблюдении одного условия – чтобы термину, составленному из каких-либо других терминов, соответствовало число, образованное из чисел этих терминов, умноженных друг на друга» [5, с.506]. Гений Лейбница сказался не только в понимании принципа взаимно-однозначного соответствия, значимого для теории множеств, но и в том, что он предвосхитил

представление Ф. де Соссюра о языке как о системе оппозиций, развитое Г. Гийомом в идее о языке как о «системе систем». Но и это ещё не всё. Казалось бы, абстрактный логицизм нельзя считать продуктивной предпосылкой для компаративных исторических штудий языка, однако Г.В. Лейбниц опроверг на практике это предвзятое мнение. Он показал бесперспективность попыток его современников выведения существующих индоевропейских языков из древнееврейского, сделав это до того, как английскими миссионерами был открыт санскрит. Итак, метафизика классического рационализма с её идеей логического универсализма и априоризма внесла решающий вклад в дело формализации системы языковых отношений, заложив теоретический фундамент лингвистики в методологическом плане.

#### **Список используемой литературы**

1. Арно А., Лансло К. Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля. М.: Прогресс, 1998. 272с.
2. Арно А., Николь П. Логика, или Искусство мыслить, где помимо обычных правил содержатся некоторые новые соображения, полезные для развития способности суждения. М.: Наука, 1991. 416с.
3. Гоббс Т. Сочинения в 2 т. М.: Мысль, 1989. Т. 1, 622 с.
4. Коменский Я.А. Сочинения. М.: Наука, 1997. 476 с.
5. Лейбниц Г.В. Сочинения в 4 т. М.: Мысль, 1984. 734с.

#### 4. ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯЗЫКА В ФИЛОСОФИИ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Переход от метафизики как первого отношения мысли к объективности ко второму, согласно учению Г.В.Ф. Гегеля, связан с изменением представления о горизонте обобщения. Если метафизика принимала определения мысли за существенные признаки самого предмета, то второе отношение мысли к объективности предполагало, что предмет в своей чувственной конкретности дефинитивным инициативам мысли ничем не обязан, так как он существует независимо от неё. Первую фазу второго отношения мысли к объективности, следуя гегелевскому подходу, составляет эмпиризм, делающий ставку на чувственную данность предмета в опыте, а вторую – критицизм, ставящий вопрос о границах возможного опыта. Специфика эпохи Просвещения как тотальности большого стиля состоит в том, что её исходные ценностные обетования складываются в контексте отвлечённо-гуманистического дидактического идеала Пансофии, тесно связанного с познавательным оптимизмом рационалистической метафизики, тогда как реальность её праксиса предполагает развенчание убеждения в самодостаточности абстракций отвлечённо-метафизического мышления, а её историческим итогом становится критицизм, формалистическая ангажированность которого оказывается обратной стороной его революционного содержания. Обращение просветительской мысли к эмпиризму является свидетельством реалистичности её установок и даже относительной исторической зрелости. Языкознание в этой категориальной диспозиции призвано иметь дело с языком как с реальным фактом, который может быть дан только на квалифицированном наборе эмпирических условий. Это значит, что возникает вопрос о генезисе языка как явления, а проблема происхождения языка (сколь бы метафизически-претенциозно она ни позиционировалась) должна была продемонстрировать свою разрешимость в имеющемся в распоряжении и доступном для критики эмпирическом материале, препарированном по меркам

сенсуалистической философии, пришедшей на смену классическому рационализму.

Основополагающим фактом интеллектуальной жизни становится сенсуалистическая доктрина Дж. Локка. Отрицая понятие врождённых идей и проводя дифференциацию «первичных» и «вторичных» качеств, Дж. Локк, с одной стороны, подготовил условия для насыщения мысли богатым эмпирическим материалом, но с другой – поставил её перед дилеммой, в которой оба варианта решения проблемы оказывались в разных отношениях фатальными для последующих судеб как философского мышления, так и частных позитивных наук. Отказ от «врождённых идей» ставил под сомнение состоятельность истин математики, гарантирующей единство механистической картины мира. Что же касается дифференциации качеств, то в результате сложились два пути сохранения неустойчивого равновесия внутри просветительского миропонимания. По замыслу самого Дж. Локка к «первичным» качествам принадлежали только механические характеристики предмета опыта, которым подобала «объективность», тогда как за «вторичными» закреплялась репутация несущественных и «субъективных» реактивных характеристик. Чтобы сохранить в качестве предпосылки локкианский энвайронменталистский подход, нужно достичь известной однозначности в интерпретации предмета опыта, дабы избежать рецидива квалитативистского мышления, несостоятельность которого была вскрыта классическим рационализмом ещё в период господства догматической метафизики. Собственно британские продолжатели Дж. Локка пришли к выводу, что «первичные» качества на деле столь же субъективны, как и вторичные: сначала Дж. Беркли пришёл к отрицанию субсистемного существования материи, исходя из фидеистического неприятия материализма, а затем агностик Д. Юм додумался считать принцип причинности результатом привычки, вызванной ассоциацией идей, из чего следовал вывод, низводящий само понятие субъекта до статуса случайного «пучка перцепций». Французские эпигоны Дж. Локка пошли другим путём, признав реальными и объективными только первичные качества, что открывало путь для последовательного

механистического материализма. Оба решения показали в перспективе свою полную теоретическую несостоятельность, но они обладали известной респектабельностью в силу того, что за ними стояла концептуалистская доктрина Локка, легитимирующая роль рефлексии в познании, что вполне соответствовало ценностным приоритетам эпохи Просвещения.

В своих рассуждениях сам Дж. Локк исходил из следующих соображений: «Люди способны производить членораздельные звуки. Задумав человека как существо общественное, бог не только создал его со склонностью к общению с другими подобными ему существами и сделал это общение необходимым для него, но и даровал ему язык, который должен был стать великим орудием и общей связью общества. Поэтому органы у человека по природе устроены так, что способны издавать членораздельные звуки, которые мы называем словами. Но это было недостаточно для возникновения языка, ибо довольно ясному произведению членораздельных звуков можно научить попугаев и разных других птиц, которые, однако, совершенно не обладают даром речи. Люди способны делать звуки знаками идей. Поэтому кроме членораздельных звуков было еще необходимо, чтобы человек был способен пользоваться этими звуками как знаками внутренних представлений и обозначать ими идеи в своем уме, чтобы они могли сообщать друг другу свои мысли» [6, с.459].

Энвайронменталистский подтекст с апелляцией к понятию «среды» и признание роли рефлексии здесь вполне очевидны, но вот учение Дж. Локка о значении слов включает в себя восемь пунктов, заключающих в себе возможность внутреннего саморазрушения самого представления о языке, поскольку он мыслим как локус всеобщности: 1) слова суть понимаемые чувственные знаки, поскольку они необходимы для общения, 2) слова указывают только на идеи того человека, который их употребляет, 3) слова не выходят по своему значению за пределы жизненного опыта человека, который их употребляет, 4) люди обманываются на предмет значения слов в уме других людей, 5) люди склонны верить в то, что слова обозначают действительные вещи, 7) часто употребляются слова, которые



ничего не значат и, наконец, 8) значение слов вполне произвольно. Сама по себе констатация конвенциональности знака особых возражений не вызывает, если бы не ряд предшествующих допущений, которыми она всецело релятивизируется. Великий Дж. Свифт показал истинный смысл сенсуалистского лжеучения Локка на примере «ученых» из академии в Лагадо, решивших, что слова извращают истинный смысл чувственного опыта, и заменивших их вещами: «Мне часто случалось видеть двух таких мудрецов, изнемогавших под тяжестью ноши, подобно нашим торговцам вразнос. При встрече на улице они снимали с плеч мешки, открывали их и, достав оттуда необходимые вещи, вели таким образом беседу в продолжение часа; затем складывали свою утварь, помогали друг другу взваливать груз на плечи, прощались и расходились» [8, с.196]. Свифтовская сатира показывает, что коммуникативный процесс в случае принятия локкианского понимания языка оказывается попросту невозможным и вырождается в пантомиму человеческого скудоумия.

Ошибка эмпириков и сенсуалистов состояла в том, что они ставили проблему онтологически, тогда как она была гносеологической. Именно этот аспект выявил Г.В. Лейбниц в «Новых опытах о человеческом разумении», полемизируя с представлением Дж. Локка о душе как о «чистой доске», отдавая предпочтение сравнению с глыбой мрамора, в конфигурации которой намечены контуры будущей статуи: «Наш учёный автор, по-видимому, убежден, что в нас нет ничего потенциального и даже нет ничего такого, чего бы мы всегда не сознавали актуально. Но он не может строго придерживаться этого, в противном случае его суждение было бы парадоксальным. В самом деле, приобретенные привычки и накопленные в памяти впечатления не всегда осознаются нами и даже не всегда являются нам на помощь при нужде, хотя часто они легко приходят нам в голову по какому-нибудь ничтожному поводу, вызывающему их в памяти, подобно тому как для нас достаточно начала песни, чтобы вспомнить ее продолжение. В других местах он также ограничивает свой тезис, утверждая, что в нас нет ничего такого, чего бы мы не осознавали по крайней мере когда-либо прежде» [5, с.52]. В лейбницианских возражениях

намечается и тема памяти как экзопсихической структуры, и базовый конструкт теоретико-познавательного априоризма, актуализируемый субъективистски только в контексте основного идеалистического воззрения. Существование языка в историческом качестве, его трансформируемость в пределах инвариантной эйдетики оказывается аргументом в пользу «теории врожденных идей», трактуемых в качестве формальных диспозитивных структур, выражающих автономию субъекта по отношению к случайному составу наличных в опыте содержательных данных.

Х. Вольф впоследствии придаст этому ходу мысли вполне догматический формат, когда в своих «Разумных мыслях» признает: «Поскольку все простые вещи суть вещи, для себя существующие, душа также должна быть вещью, существующей для себя» [9, с.301]. Именно устаревший «вещественный» формат вольфианской догматизации станет, во многом, фактором, препятствующим гносеологическому пониманию предложенного Г.В. Лейбницем решения, что приведет в перспективе к кризису догматической метафизики. Торжество локкианского концептуализма на фоне неприятия рационалистической лейбнице-вольфовской метафизики стало фатальным фактором, сыгравшим роковую роль при возникновении системных теоретических aberrаций при постановке проблемы происхождения языка в интеллектуальных интерьерах эпохи Просвещения.

Просветители начинают отождествлять идею с мыслью, которая при этом трактуется как частнопредметное аффективно-реактивное состояние. Так, например теоретик британского консерватизма Э. Бёрк учит: «идея реального предмета преходяща и, возможно, некоторым вообще никогда не являлась в реальности ни в каком виде, но тем не менее она оказывает на них очень сильное воздействие, например, война, смерть, голод и т.п. Кроме того, многие идеи вообще были представлены внешним чувством людей только с помощью слов – например, бог, ангелы, черти рай и ад, - однако все они имеют огромное влияние на аффекты» [1, с.193]. При этом комбинаторный аргумент у Э. Бёрка функционально идентичен ассоциативному у Д. Юма. Фактически сенсуалистская доктрина не встречает среди

большинства просветителей никакого теоретического отпора, становясь непререкаемой догмой, в свете которой будет обсуждаться и ставиться проблема происхождения языка. Возникают как звукоподражательные теории происхождения языка, так и концепции, выводящие происхождение языка из жестикуляции, передающей некоторое эмотивное содержание, рефлекторно воспроизводимое человеком как «чувствующей машиной». Так сенсуализм скатывается к материализму. В качестве аргумента прибегают к заведомо постановочному умственному эксперименту, который никем и никогда не мог быть поставлен. Так, например, аббат Кондильяк предполагает, что если двух детей изолировать в пустыне, то они естественным образом изобретут язык, руководствуясь рефлексами и инстинктами, которыми они обладают в качестве единообразно устроенных «чувствующих машин». Находчивый аббат фантазирует: «возгласы, сопутствующие страстям, способствовали развёртыванию действий души, естественно порождая язык жестов – язык, который при своём возникновении в соответствии с незначительной степенью умственного развития этой четы состоял, вероятно, из одних лишь гримас и бурных телодвижений» [4, с.185]. Налицо попытка дать объяснение происхождения языка в ключе гносеологической робинзонады, игнорирующей факт трансляции социального опыта. Не менее чудовищна на свой лад и «трудовая теория» Ж.Ж. Руссо, согласно которой язык формируется из выкриков, совершаемых в ходе осуществления процесса материального производства индивидом, не имеющим изначально никаких общественных потребностей. Женевский гражданин учит: «В чём же источник происхождения языков? В душевных потребностях в страстях. Все страсти сближают людей, тогда как необходимость сохранения жизни вынуждает их избегать друг друга. Не голод, не жажда, а любовь, ненависть, жалость и гнев исторгли у них первые звуки» [7, с.226]. Этот «апостол равенства» был также убеждён в том, что примитивный язык изобиловал метафорами, которые, вообще-то говоря, являются весьма сложными продуктами стилевой дифференциации.

Первый достойный прецедент критики руссоистских фантазий был создан еврейско-немецким просветителем М.

Мендельсоном. В своём «Письме к магистру Лессингу в Лейпциг» Мендельсон удивляется обилию несообразностей в руссоистской концепции. Так, например, женеvский гражданин учит, что изначально существовали только имена собственные, приложимые не к группе предметов, а к каждому отдельному экземпляру. Нетрудно представить себе, каких размеров должен был бы достичь активный вокабуляр примитивного человека, а учитывая однократность предметной номинации, всё это богатство оказалось бы в принципе несообщимым, ведь «естественный человек» обречён у Руссо на робинзонаду. М. Мендельсон обращает внимание ещё на одну несообразность: откуда у человека, живущего вне общества, а следовательно, понятия не имеющего об отношении собственности, может возникнуть потребность нарекать предметы окружающего мира именами собственными? Более того: опыт изучения примитивных народов свидетельствует о том, что не нарицательные имена возникли из собственных, а совсем наоборот – собственные из комбинации нарицательных. У Ж.Ж. Руссо имена предшествуют в истории языка глаголам. М. Мендельсон оспаривает и этот тезис, указывая на характер основ у сильных и неправильных глаголов. Согласно его точке зрения, сначала возникли императивы и претеритальные основы в функции повествовательного прошедшего времени, а инфинитивы глаголов представляют собой сравнительно поздний продукт развитой системы спряжения. Имена изначально были только нарицательными и имели отглагольное происхождение. Местоимения возникли после имён и служили коммуникативной интенсификации процесса спряжения. Мендельсоновская критика руссоистской робинзонады не оставляет камня на камне от фантазмов женеvского гражданина.

Дискуссии о происхождении языка хронологически совпадают с началом общего кризиса нормативизма в европейском языкознании. Нормативистский подход предполагал, что языковую норму формулирует и задаёт грамматист, делая это, разумеется, с оглядкой на вкусовые предпочтения господствующих образованных сословий, зафиксированные в изящной словесности. В соответствии с

таким подходом разговорный язык, просторечия и диалекты воспринимались как нарушение канона литературного языка. Однако уже в XVII столетии появляются прецеденты откровенно-пуристической критики языка образованных сословий. Так, например, Ф. фон Цезен, видя засорение немецкого языка неоправданными галлицизмами и латинизмами, предпринимает курьёзную попытку создать новый образ литературного языка, вполне свободного от заимствований. Жертвой пуристического рвения Ф. фон Цезена стали и невинные индоевропейские параллелизмы, которые он вознамерился заменить громоздкими композитами из исконно-немецких элементов. К XVIII веку такое пуристическое предприятие уже представлялось смехотворным, так как были созданы этимологические словари и слова заимствований, позволяющие трезво взглянуть на проблему. Особая заслуга в этом принадлежит немецкому лексикографу Шоттелю. Развитие научной лексикографии, таким образом, поставило вопрос о правомерности нормотворческих притязаний языковедов и о том, можно ли считать образцом язык образованных сословий. С возникновением первой теоретической грамматики немецкого языка, созданной Аделунгом, стало очевидным, что задача языковеда состоит не столько в том, чтобы диктовать нормативы носителям языка, сколько в том, чтобы объяснять, каким образом язык сложился в том виде, в каком он допускает позиционирование одного из предпочтительных узусов в качестве нормы. Все эти процессы размывали методологический консенсус нормативистского языкознания изнутри. Когда же британскими миссионерами для европейцев был открыт санскрит и обнаружился системные индоевропейские параллели на уровне базового корневого фонда, сам кризис нормативизма приобрёл системные очертания. Чтобы языкознание могло считаться полноценной наукой, а не бесплодной и претенциозно-дидактической учёностью, следовало предложить пусть условное, но всё-таки мировоззренчески-легитимное решение вопроса о происхождении языка с позиции эпохи Просвещения.

Постановка проблемы происхождения языка в продуктивном ключе была осуществлена в философии немецкого

Просвещения в неогуманистическом духе. У истоков концепции происхождения языка стоял И.Г. Гердер, круг философских и общегуманитарных интересов был чрезвычайно многообразным. Будучи одним из идейных вдохновителей движения «Бури и натиска», И.Г. Гердер впервые поставил проблему народности в литературе и задал вопрос о соотношении национального самосознания и общечеловеческих идеалов в контексте «духа времени». Гердер был первым европейским учёным, выступившим со штудиями фольклора и показавшим его роль в развитии европейских национальных литератур. Вслед за Г.Э. Лессингом Гердер содействовал становлению и развитию литературной критики, которая осмыслялась им в контексте мировоззренческих задач неогуманизма. Приняв самое деятельное участие в «Споре о Спинозе», бывшим первой общенациональной немецкой философской дискуссией, И.Г. Гердер сформулировал принципы органической онтологии, противопоставив их бездушной картине мира механистического материализма. Его идеи оказали огромное влияние на натурфилософские воззрения И.В. Гёте, а также на целый ряд эзотерических философских учений, включая антропософию Р. Штайнера в XX веке. Будучи пастором по основному виду своих профессиональных занятий, И.В. Гердер принял приглашение от Гёте и веймарского дома, заняв пост суперинтенданта – главы лютеранского духовенства в этом княжестве. Тем не менее, И.Г. Гердер высказывался в своих произведениях не только в поддержку коперниканства и гипотезы Канта-Лапласа, но и решительно отвергал идею происхождения человечества от одной пары, формулируя принципы расовой теории в гуманистическом ключе. Вершиной творчества мыслителя стал его монументальный труд «Идеи к философии истории человечества», в котором И.Г. Гердер заложил фундамент того конкретного историзма, ставшего в дальнейшем знаковым событием в немецкой классической философии. «Философия чувства» Гердера оказала огромное влияние на романтическую эстетику, предвосхитив в сущностных чертах концепцию романтической субъективности, исходя из штюрмерского

индивидуализма. Во всех этих исканиях теме происхождения языка в гердеровской философии принадлежала особая роль.

Поводом к разработке собственной теории происхождения языка стало конкурсное академическое сочинение Гердера, полемически направленное против теологического учения о божественном происхождении языка, которое отстаивалось богословом Зюсмилхем. Общая диспозиция идейной полемики, как полагает Р. Гайм, выглядела следующим образом: «Относительно вопроса о происхождении языка существовало два главных противоположных воззрения – ортодоксальное и рационалистическое. Приверженцы первого из этих воззрений утверждали, что язык не был создан собственным человеческим трудом, а был дарован от Бога. Приверженцы второго воззрения полагали, что и язык, подобно всем человеческим учреждениям, возник вследствие состоявшегося между людьми добровольного соглашения. Оба воззрения, очевидно, касались только внешней стороны вопроса и оставляли сущность проблемы неразрешённой. Об они были основаны на предложении, что человек одарён способностью говорить и даже что он уже умеет говорить. Теория божественного происхождения языка никак не могла объяснить передачу языка от Бога человеку, если не предполагала заранее, что человек одарён и способностью говорить, и разумом. Возникновение языка путём добровольного соглашения также было не понятно без предварительного предположения, что язык уже существует. Поэтому Гердер восстал против обоих воззрений и, полемизируя с новейшими представителем гипотезы о божественном происхождении языка, Зюсмилхем, доказывал её бессмысленность [2, с.539]. Гердер отверг также и учения Руссо, Мопертюи и Витрувия, в которых происхождение языка возводилось к естественному крику. Подвергнута критике была и механистическая концепция Кондильяка.

Великий немецкий просветитель полагал, что все эти доктрины не учитывают саму сущность человека, преимущества которой составляют свобода, способность к целеполаганию и наличие рефлексии, отличающей человека от животных. Последние действуют инстинктивно, будучи не в состоянии не

реагировать, если дан стимул, тогда как человек действует рефлекторно, сознавая себя и свои цели. Осмысленность человеческих действий выражается в избирательной концентрации мотивов в направлении приоритетной практической цели. Следовательно, согласно Гердеру, существует ведущий мотив, признаваемый в качестве приоритетного. Именно он и обладает коммуникативной релевантностью. Он приводит в действие ассоциативные механизмы и систему перцептивных аналогий, на основе которых происходит различение качеств от их носителей и соединение разных носителей под одним качеством. Способность к такому синтезу производит первое суждение души, в которой возникает её «внутреннее слово». Стихией речепорождения стал слух, так как именно это чувство даёт повод к абстрагированию качеств от их носителей. Дальнейший порядок развития языка мыслится И.Г. Гердером в мендельсоновском ключе: субъекты возникли позже предикатов, не раньше, чем человек стал обожествлять их в качестве неких сверхчеловеческих сил. Персонификация же последних есть результат длительного развития в русле антропоморфизации изначальной магической установки. Поэтому не религия устанавливается личностью, а личность конституируется в контексте конкретизации религиозных установок. Из этого хода мысли И.Г. Гердер делает вывод, что древнейший словарь был изначальным звуковым Пантеоном. Поэтому древнейшим языком человека было песнопение, вследствие чего следует признать, что поэзия старше прозы.

Согласно гердеровскому учению, язык формирует человеческую картину мира, становясь решающим фактором развития духа в истории: «Ни у одного народа нет представлений, которых он не мог бы назвать; самый живой образ тонет в тёмном чувстве, пока душа не находит нужный признак и не запечатлевает его благодаря слову в воспоминании, в традиции, – чистый, обходящийся без языка разум, – это Утопия. То же самое можно сказать и о чувствах и склонностях целого общества. Лишь язык превратил человека в человека, чудовищный поток аффектов язык сдержал дамбами и поставил им разумные памятники в словах. Не лира Амфиона воздвигла



города, не волшебная палочка превратила пустыни в сады, – всё это сделал язык, сблизивший людей. Благодаря языку люди объединились в союзы, приветствуя друг друга, они заключили союз любви. Язык утверждал законы, связывал роды; лишь благодаря языку стала возможной история человечества с передаваемыми по наследству представлениями сердца и души. И теперь встают перед моим взором герои Гомера, я слышу жалобы Оссиана, хотя тень певца и тени героев давно уже исчезли с лица земли. Но сотрясаемый устами воздух обессмертил их и являет образы их моему взору; голос давно умерших людей звучит в моих ушах, я слышу давно отзвучавшие слова их. Всё, что думали мудрецы давних времён, что когда-либо измыслил дух человеческий, доносит до меня язык. Благодаря языку мыслящая душа моя связана с душою первого, а может быть и последнего человека на земле: короче говоря, язык – это печать нашего разума, благодаря которой разум обретает видимый облик и передаётся из поколения в поколение» [3, с.236]. Рассматривая язык в контексте всемирной истории, И.Г. Гердер, тем самым признаёт и историчность самого языка, из чего делается важный вывод: «Ни один язык не выражает вещи, но выражает только имена вещей; и человеческий разум не познаёт вещи, но только признаки вещей, обозначаемые словами» [3, с.236]. Эта констатация призвана подействовать отрезвляюще на метафизиков, стремящихся постичь «суть вещей» в отрыве от языка и объяснить его собственное существование внеисторическими схемами и умозрительными гипотезами. Историчность языка, таким образом, требует понимания его самого в историческом ключе.

Теоретик немецкого неогуманизма не останавливается на мировоззренческих исторических декларациях, а стремится выявить общеметодологические принципы познания языка, сведя их в каноны языковой конституции». Они таковы: 1) чем древнее и исконнее язык, тем более заметна в нём аналогия чувства слуха в его корнях, а, следовательно, 2) тем заметнее интерференции значений, стимулирующие развитие метафорики (складывающейся генетически и раскрывающейся в развёрнутых сравнениях и гиперболах), а потому 3) в языке возникает

синонимия (сам факт наличия которой служит аргументом против гипотезы о божественном происхождении языка), что позволяет 4) признать абстракции упорядочивающими симплификациями чувств, вследствие чего 5) под грамматикой следует понимать инструктивную методологию применения языка, значение которой тем меньше, чем язык исконнее. Из последнего пятого канона вытекает семь короллариев, суть которых состоит в его детализации применительно к историческому воззрению на язык. И.Г. Гердер учит, что а) склонение и спряжение представляют собой сокращённые определения имён и глаголов в соответствии с обстоятельствами и степенью персонификации, причём б) глаголы мыслятся результатом абстрагирования спряжений, а имена – глаголов, вследствие чего с) сами глаголы изначально были представлены своими претериальными основами, из чего следует, что глагольный презенс возник после повествовательных исторических форм, чем объясняется d) факт сокращения числа глаголов в цивилизованных языках в связи с интенсификацией категориального аппарата спряжения, вызвавшей е) ослабление образности, а потому различия в значении слов стали закрепляться на артикуляционной основе, что привело к f) прогрессу разума через развитие языка, являющегося отпечатком человеческой души. Принимая во внимание ход гердеровской мысли, следует обратить внимание как на её органицизм и телеологичность, так и на латентную идею методологического примата диахронии в познании языка, осуществившуюся в дальнейшем в сравнительно-историческом языкознании. Итак, гердеровское учение о происхождении языка стало разрешением общего кризиса нормативизма в языкознании XVIII века, итогом осмысления проблемы языка с мировоззренческих позиций Просвещения с теоретической предпосылкой для дальнейшего развития лингвистики как самостоятельной науки, опирающейся на аутентичный методологический фундамент, представленный в научной практике компаративизм.

## Список использованной литературы

1. Бёрк Э. Философские исследования о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного. М.: Искусство, 1979. 237 с.
2. Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения. СПб.: Наука, 2011. Т. 1, 950 с.
3. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. 704 с.
4. Кондильяк Э.Б. Сочинения в 3 т. М.: Мысль, 1980. Т. 1, 334 с.
5. Лейбниц Г.В. Сочинения в 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 2, 686 с.
6. Локк Дж. Сочинения в 3 т. М.: Мысль, 1985. Т. 1, 621 с.
7. Руссо Ж.Ж. Избранные сочинения в 3 т. М.: Госхудлитиздат, 1961. Т. 1, 852 с.
8. Свифт Дж. Путешествия Лемюзля Гулливера. Сказка бочки. М., Харьков: Полиграфресурсы СП «Фолио», 1994. 511 с.
9. Христиан Вольф и философия в России. СПб.: РХГИ, 2001. 400 с.

## 5. СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛИНГВИСТИКИ КАК НАУКИ

Предложенное И.Г. Гердером решение проблемы происхождения языка в содержательном плане не было и не могло быть окончательным в силу разных причин – как по причине неразвитости общенаучного контекста психологии и этнографии, так и в силу того, что языкознание пока так и оставалось «учённостью», ожидающей фазового перехода в стадию собственно научного развития. Принцип историзма применительно к изучению языка был принят в качестве базовой предпосылки, но его реальное воплощение требовало метода, способного наполнить принятую «декларацию о намерениях» конкретным предметным содержанием, ибо, как справедливо отмечает Д.П. Панов, «Идея исторического развития» проникла в языкознание из философии, социологии, исторических наук, в которых широко уже применялся исторический принцип в изучении явлений объективного мира» [9, с.64]. Лингвистике предстояло теоретически на уровне понятий присвоить себе этот принцип, осуществив его в материале решаемых ею научных задач. Формой такого присвоения предстояло стать сравнительно-историческому методу, существо которого, согласно Н.А. Кондрашову, состояло в следующем: «Сравнение было для него средством систематизации языкового материала, а исторический подход к языку стал главным принципом исследования. Сравнение проводилось строго систематически и имело целью сравнение истории языков» [4, с.38]. При этом языковеды исходили из того, что, как признаёт В.М. Алпатов, «сравнивать следует не целые слова известных языков, которые могут состоять из компонентов разного происхождения, а их составные части» [1, с.58]. Догматизация этого приёма требовала примата морфологии в языковедческих исследованиях, что предполагало методологическую генерализацию морфологической точки зрения. Отныне, чтобы решить какую-либо проблему языкознания, следовало перевести её в морфологический план научной разрешимости. Методологическим рефлексом этого приёма можно считать

«принцип регулярности соответствий», введённый датским лингвистом Р. Раском в становящуюся науку о языке.

Принято считать, что годом рождения лингвистики как самостоятельной науки является 1816. Тогда увидела свет во Франкфурте-на-Майне работа немецкого лингвиста Ф. Боппа «О системе спряжения санскритского языка в сравнении с таковым греческого, латинского, персидского и германского языков». В качестве ключевого мотива исследования Ф. Бопп избрал глагольную флексию, умозаключив от наличия обнаруженных аналогий к общности их происхождения. Так в обиход языкознания было введено понятие «индоевропейских языков», в которых прослеживались закономерности, выявленные Ф.Боппом. До него, начиная с исследований санскрита, это интуитивно сознавалось, но у В. Джонса и А. Шлегеля такое признание ещё не могло быть доказано, оставаясь всего лишь вероятной гипотезой. Именно Ф. Бопп на основе обнаруженных регулярных соответствий пришёл к выводу о морфологическом единстве грамматической системы индоевропейских языков, что предполагало их генетическое родство. Предполагалось, что можно с высоким уровнем достоверности реконструировать исконные первоформы, объясняя морфологические особенности какого-либо языка посредством апелляции к фактам из истории другого, при условии наличия между ними отношений сродства, дающего основания для умозаключений по аналогии. Сам по себе этот замысел не вызывает возражений, однако конкретный материал налагает на общезначимые умозаключения по аналогии весьма существенные ограничения. Немецкий лингвист некритически принял гипотезу индийских грамматистов о происхождении слов от односложных корней, которые могли быть либо глагольными, либо местоименными. Получалось по этой логике, что падежные окончания и личные флексии также следовало считать местоименными корнями, претерпевшими агглютинацию. Этот подход оказывается ошибочными при учёте различия между синтетическими и описательными формами, передающими значение перфективности, например, в латыни. Ошибочной оказалась также и гипотеза Боппа о родстве индонезийских и кавказских языков с индоевропейскими. Но на

системном уровне имелись и несомненные достижения. Так, например, следуя Ф. Боппу, Ф.К. Диц сначала искусственно реконструировал гипотетические формы в вульгарной латыни, которые не встречались в имевшихся памятниках, а затем обнаружили текст, дающий примеры употребления этих форм. Этот казус способствовал признанию авторитетности сравнительно-исторического метода среди языковедов.

Датский лингвист Р. Раск начал свою деятельность на поприще сравнительно-исторического языкознания одновременно с Ф. Боппом, но независимо от него. Областью его преимущественных интересов стала германистика, в особенности северо-германские языки. Обладая феноменальными способностями полиглота, Р. Раск совершил путешествие в Азию, посетив Россию и Индию, однако он не считал нужным использовать в своих исследованиях данные, предоставляемые санскритом. По своим воззрениям Раск был убеждённым оппонентом нормативистского понимания задач науки о языке. Им было обнаружено целый ряд системообразующих сходств, характерных для германских языков с одной, и для греческого, латыни и балто-славянских языков, с другой стороны. Подходу Р. Раска присуще чёткое разграничение лексики и грамматики в изучаемых языках. При этом пальму первенства в плане теоретической релевантности он отдавал грамматическим соответствиям, подчёркивая, что язык не может заимствовать флексий склонения и спряжения, но может под влиянием другого языка, если лексические заимствования превысят критический для собственной системы уровень, лишиться своих исконных морфологических признаков. Эта констатация представляется справедливой по отношению к английскому языку, пережившему норманнское завоевание. Методологически-корректным Р. Раск считал такой анализ, при котором корень слова не разлагается. Помимо сказанного, Раск пытался предпринять выход за пределы чистого морфологизма, на который ориентировались компаративисты, ставя проблему фонетических соответствий между генетически-родственными языками. Такой подход позволил великому датскому лингвисту вернуть научную респектабельность этимологии. «Фракийская гипотеза» Р. Раска,

несмотря на спорность способа своей подачи, тем не менее, во многом соответствовала если не букве, то духу индоевропейской компаративистики, хотя он и не задавался столь претенциозными задачами, как Ф.Бопп. Раск не стремился установить верифицируемый генезис исходных первоформ в гипотетическом инварианте изучаемых языков.

В России значительный вклад в сравнительно-историческое языкознание внёс А.Х. Востоков, будучи по характеру своих интересов филологом-славистом. Этот учёный начал с лексикографических штудий церковно-славянского языка, а впоследствии пришёл к интересным обобщениям, имеющим отношение к славянским языкам вообще. Хотя А.Х. Востоков следовал классификации чешского слависта И. Добровского, предполагавшей деление славянских языков на восточные и западные, он привлекал в своих исследованиях данные и по сербскому языку. Востокову удалось установить звуковое значение большого и малого «юсов», сопоставляя старославянские слова со словами в польском языке, в которых остались носовые гласные. Тем самым он создал прецедент сопоставления живого и мёртвого языков, что по меркам научных подходов того времени содержало в себе выраженную новацию. А.Х. Востоков придавался диалектологическим изысканиям в русском языке, а также провёл значительные текстологические и палеографические исследования имевшихся в Румянцевском Музее рукописей. Им были описаны различные варианты изводов старославянского языка и осуществлена его историческая периодизация. Особого внимания заслуживает лингвистический комментарий А.Х. Востокова к «Остромирову Евангелию». При этом Востоков настаивал на необходимости понимания принципиального характера языковых отличий таких памятников, как «Слово о полку Игореве» от церковнославянской книжности, в силу чего ему удалось выйти на обоснование специфики древнерусского языка.

Огромную роль в истории компаративизма сыграли братья Я. и В. Grimm. Их интересы были сосредоточены в области германского языкознания и поддерживались народническими инспирациями немецкого романтизма. Ещё И.Г.

Гердер указывал на важность изучения фольклора. После выпуска гейдельбергскими романтиками К. Brentano и Л.А. фон Арнимом сборника «Волшебный рог мальчика» эта тема приобрела в романтических кругах ценностно-мировоззренческую актуальность. Братья Grimm издали собрание немецких народных сказок, уделив большое внимание диалектальной специфике. Чрезвычайно важен их вклад в изучение германских древностей, в том числе и тех, что касались памятников древнегерманского права. Благодаря их изысканиям удалось выявить специфику правовой культуры древних германцев и показать её самобытность и принципиальную несводимость к нормам римского права. Велика заслуга братьев Grimm и в изучении мифологии древних германцев, которая до них не вызывала интереса и пребывала в небрежении. Руководствуясь романтическим пониманием народности, великие немецкие компаративисты исследовали целый сокровенный пласт значимых для развития национального немецкого самосознания языковых явлений. Я. Grimm в «Немецкой мифологии» писал: «Кажется, что по самой природе своей каждому народу дано свойство самоограждения и противостояния чуждым воздействиям. Языку, эпосу привольно лишь в родном кругу, и пока они соприкасаются со своими берегами, поток расцветивает их краски. Из этой сердцевины исходит развитие, исполненное внутренней силы и глубочайших порывов... Приобретения могут быть не меньше потерь, которые заключаются в подавлении отечественного элемента» [2, с.60]. Примечательно, что братья Grimm были противниками абстрактного логицизма в языкознании, делая ставку на исследование специфики изучаемых ими германских языков. Не случайно, что именно братья Grimm смогли обосновать идею германского передвижения согласных, открыв фонетический закон, который не знал исключений, что позволило с тех пор признать лингвистику позитивной наукой. «Немецкая грамматика», четырёхтомная «История немецкого языка» и «Немецкий словарь» составляют золотой фонд мировой германистики, а их научная значимость сохраняется и после того, как компаративистская эра в языкознании прекратилась.



Компаративизм, исходящий из методологического приоритета морфологии, дал мощный импульс индоевропейским студиям. А. Мейе справедливо указывает: «Раз родство нескольких языков установлено, остаётся определить развитие каждого из них с того момента, когда все они были более или менее тождественны, до какого-либо другого момента» [5, с.72]. Отсюда, по признанию А. Мейе вытекает видение общенаучной задачи лингвистики применительно к её предметному частнонаучному стимулу: «Общность происхождения этих языков проявляется в том, что они во многих отношениях соответствуют друг другу: и именно наблюдая их соответствия, удаётся гипотетически, но с достаточным основанием восстановить общий незасвидетельствованный оригинал различных индоевропейских языков. Первая задача сравнительной грамматики индоевропейских языков – построить теорию этих соответствий» [6, с.21]. Примечателен тот факт, что применение сравнительно-исторического метода в лингвистике предполагает опору на закон достаточного основания, открытый Г.В. Лейбницем, сформулированный Х. Вольфом и дифференцированный по четырём прецедентам А. Шопенгауэром. Обращение к этому общеполитическому гносеологическому принципу имеет, однако, в компаративизме свою специфику, состоящую в регрессивном порядке самого научного исследования. Так возникает проблема верифицируемого предела реконструкции.

Понятно, что признание компаративистами роли гипотезы в научном познании имеет у них свои особые черты. Гипотеза считается правомерной, если она мыслится разрешимой в морфологической плоскости. Вот почему проблема объяснения механизмов германского передвижения согласных обладает необычным методологическим статусом. Дело в том, что Я. Гримм, по существу, выходит за пределы чистого морфологизма и затрагивает вопросы фонетики. В этой связи возникает общегносеологический вопрос о размерностях детерминизма в языке. Так, например, Э. Прокош указывает: «Причины и время передвижения согласных являются спорными вопросами, но, вероятно, они как-то связаны друг с другом. Вряд ли случайно

такая большая и однородная группа фонетических изменений совпадает по времени с тем, что справедливо может быть названо самым значительным в истории переселением народов – германскими миграциями...» [12, с.43]. Получается, что временной фактор оказывается конвертированным в пространственных отношениях внутри формирующихся языковых ареалов. Эта проблема в модусе своей генерализации только усугубляется: если от внутригерманской точки зрения перейти к индоевропейской, то возникает потребность в обращении к вероятностно-статистическим подходам, на что указывал В. Порциг, занимаясь вопросом о членении индоевропейской языковой области: «вероятность совпадения нескольких событий есть произведение вероятностей наступления каждого из них в то же время и в том же месте. Поскольку математическое выражение вероятности всегда меньше единицы – оно равно отношению числа благоприятных случаев к числу вообще возможных, – то значение дроби очень быстро уменьшается, если речь идёт о совпадении многих событий, и уменьшается тем быстрее, чем больше количество этих событий. И в этом причина того, что значительное количество соответствий между разными языками, каждое из которых в отдельности может быть случайным, исключает случайность» [11, с.85]. Итак, компаративистские исследования ставят научную мысль один на один перед общеметодологической и теоретико-познавательной проблемой детерминизма.

Особый интерес в истории компаративизма вызывает то обстоятельство, что эта концепция, не будучи свободной от методологических противоречий, стремится выйти за пределы своей прямой предметной применимости. Компаративизм стремится к экспансии в смежных и даже отдалённых областях гуманитарного знания, не будучи завершённым концептуально в теоретико-познавательном плане, о чём свидетельствуют признания А. Мейе, Э. Прокоша и В. Порцига. Указанная тенденция позволяет поставить вопрос как об эпистемическом профиле лингвистике, так и о том, насколько стабильность её внутридисциплинарных границ зависит от логической

когерентности её метода, в котором применительно к некоторым проблемам, превышающим уровень чисто морфологических компетенций, можно говорить о концептуальной дефицитарности, которая не компенсируется простым накоплением предметного материала. О том, что проблема внутридисциплинарных компетенций существует, свидетельствует один из столпов компаративизма в XIX веке, немецкий филолог, сделавший научную карьеру в Англии, М. Мюллер. Он признаёт: «Также неразумно было бы и в науке о языке отвергать то разделение труда, какое необходимо для успешного обрабатывания гораздо менее обширных предметов. Хотя многое из того, что мы назвали бы областью языка, навсегда для нас потеряно, хотя целые периоды из истории языка по необходимости изъяты от нашего наблюдения, но и затем целая масса данных человеческого языка, которая находится перед нами или в окаменелых слоях древней литературы, или в несметном разнообразии живых языков и диалектов, представляет нам столь же, если не более, обширное поле, чем какая-нибудь другая ветвь физического исследования» [8, с.18]. Внутри компаративизма происходит своеобразный методологический дрейф, приводящий к постепенному отходу от принципа историзма в сторону естественнонаучной, натуралистической интерпретации научных задач, что обусловлено общим давлением позитивистских установок в науке XIX века. Эта подмена самим Мюллером не анонсируется и не декларируется, но на неё обращает внимание А.Л. Погодин: «Мюллер, который в первую эпоху своей деятельности, так резко выступал против эволюционизма, теперь уже ничем существенным не отличается от него и отстаивает такую точку зрения на происхождение языка, которая роднит его с представителями этнологического направления» [10, с.480].

Последствия этой явочной подмены методологической установки не заставили себя долго ждать. М. Мюллер пытается применить компаративистскую методологию для решения задач религиоведения как позитивной гуманитарной дисциплины, так и не решив вопроса о внутридисциплинарных границах лингвистики, напрямую связанного как с дилеммой

исторического и естественнонаучного способов обобщения, так и с роковым приматом морфологии, который по мере развития компаративизма становился всё более и более сомнительным применительно к частнонаучным решениям и декларативным в теоретико-познавательном плане. Обосновывая применение компаративистского метода к вопросам религиоведения, М. Мюллер признавал, «что я не хотел и не мог позволить себе отказаться ни от того, что я считал истиной, ни от того, что для меня дороже истины, а именно – от права проверки истины» [3, с.38]. Современники полагали, что, говоря об «истине», великий лингвист имеет в виду религию, будь то статуарный культ, или же несообщимые идеалистические упования благочестивой души. На деле же под «истиной» М. Мюллер понимает саму компаративистскую доктрину, которую он хочет испытать на материале, предоставляемом религиоведческой проблематикой. Мюллеровское понимание религиозного опыта хоть и вписывается в комплекс позитивистских представлений XIX века, оказывается весьма спиритуализированным и утончённым. Он видит в религиозности закономерный продукт развития языка, воспроизводя гердеровское представление о роли языка в создании картины мира. В своём труде «От слова к вере» М. Мюллер ставит под сомнение материалистические и позитивистские догмы «века Прогресса»: «Язык – первое создание творческого духа человека, не только превосходящее древностью самые ранние памятники письменности, но предваряющее даже первый лепет предания, составляет непрерывную цепь, которая тянется от первого рассвета истории до наших дней. Мы говорим языком, которым говорили первые родоначальники нашего племени; и этот язык с его дивным строением представляет неопровержимое свидетельство против такой грубой клеветы. Происхождение языка, образование корней, постепенное определение значения слов, систематическая выработка грамматических форм, весь этот процесс, который мы ещё можем проследить под поверхностью нашего слова, свидетельствует, что в человеке искони жила и действовала разумная душа: по достоинству творения мы судим о самом художнике» [7, с.112]. Налицо своеобразная аутосуггестия:

если компаративизм может обосновать саму религию как один из высших аквизитов духовной жизни человека, то это должно стать свидетельством его внутренней теоретической истинности. Такое самовнушение, однако, есть часть психодefензивного сценария, своего рода мировоззренчески-легендированный «утешительный приз». В условиях позитивистского миропонимания сравнительно-исторический метод не устаревал, но парадоксальным образом быстрее генерировал проблемы, нежели с успехом решал их. Его эвристические притязания оказывались большими, нежели внутренний ресурс категориальной связности. Это и привело компаративизм к дилемме: либо повторить по отношению к собственным исходным позициям прецедент гносеологической критики (подобной кантовской), либо утратить собственные притязания на историчность в перспективе чисто натуралистической тематизации.

Сравнительно-историческое языкознание, поставленное перед гносеологической дилеммой, могло заключать в себе предпосылки для обеих точек зрения, но не могло практиковать обе эти методологические установки одновременно ввиду их мировоззренческой несовместимости. Невозможно практиковать примат морфологии сразу в двух смыслах, видя в нём одновременно и природную форму, подчинённую естественному факту позитивного факта, и снятый троп гносеологического формализма. Поэтому спиритуалистический путь осуществляется в гумбольдтианстве в ключе идеалистической критики, а позитивистски-материалистический – в лингвистическом натурализме органицистского толка, грозящем лингвистике утратой в перспективе её ставшей весьма проблематичной научной автономии. Дальнейшее развитие покажет, что эта дилемма не была для молодой науки неким смертельным недугом, а всего лишь проходящей «болезнью роста».

### **Список использованной литературы**

1. Алпатов В.М. История лингвистических учений. М.: Языки русской культуры, 1998. 368 с.

2. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков. Трактаты, статьи, эссе. М.: Изд-во МГУ, 1987. 512 с.
3. Классики мирового религиоведения. Антология. М.: Канон+, 1996. 496 с.
4. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений. М.: Просвещение, 1979. 224 с.
5. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 512 с.
6. Мейе А. Основные особенности германской группы языков. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 168 с.
7. Мюллер М., Вундт В. От слова к вере. Миф и религия. М.-СПб.: Эксмо-Тerra Fantastica, 2002. 864 с.
8. Мюллер М. Лекции по науке о языке. М.: Книжный дом «Либроком», 2009. 314 с.
9. Панов Д.А. Общее языкознание. Пермь: Учёные записки кафедры русского языка, 1973. 299 с.
10. Погодин А.Л. Язык как творчество (психологические и социальные основы творчества речи): Происхождение языка. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 560 с.
11. Порциг В. Членение индоевропейской языковой области. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 332 с.
12. Прокош Э. Сравнительная грамматика германских языков. М. Книжный дом «Либроком», 2010. 384 с.

## 6. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ АНТИНОМИЙ В РОМАНТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА

Соотнесение компаративистской методологии с мировоззренческими факторами, оказывающими влияние на спецификацию ценностных установок человеческой мысли, приводит к неожиданным и зачастую парадоксальным результатам. Примером того может служить романтическая философия языка, соединяющая достижения сравнительно-исторического языкознания с ценностными устремлениями романтизма, состоявшегося в качестве мировоззренческой тотальности большого стиля. Романтическое миропонимание не ограничивается интуициями чисто эстетического порядка, а проникается во все сферы духовного самоопределения человека, включая естественные и гуманитарные науки, историографию, политику, философию и религию. Во всех этих областях романтизм трансформирует предпосылочный базис, вызывая эффект внутренней проблемной динамизации и соотнося конкретику частных задач с единой мировоззренческой идеализацией, имеющей выраженный сверхценностный смысл. Романтизм вносит в науки, политику, философию и религию жизненность, активизируя саму позицию субъекта, миф о котором обосновывается эстетически в формате художественной практики. Вовлечение лингвистики в поле романтических мировоззренческих ожиданий было благотворно для неё с точки зрения развития в ней субъективного момента, без которого невозможно полноценное развитие мысли.

К моменту возникновения лингвистики как самостоятельной науки романтизм находился в фазе своего концептуального расцвета, будучи определяющей тенденцией духовной жизни. Попав в поле идейного воздействия столь мощного мировоззренческого аттрактора, лингвистика не могла не воспринять его интеллектуальных инспираций, носивших тотальный характер, однако лингвистическая рецепция сверхценных романтических импульсов обладала своей спецификой. Взаимодействие лингвистики и романтизма, однако, не было односторонним: романтизм способствовал развитию в

лингвистике субъективного момента, активизирующего в ней интерес к гносеологической проблематике, а лингвистика способствовала спецификации в романтизме установочного компонента, выявляющего специфику условностей его художественного языка, раскрывая их латентную историчность. Результатом этого двустороннего продуктивного взаимодействия стала романтическая философия языка, позволившая обрести гносеологическое понимание задач лингвистической научной методологии. В лингвистике был выявлен и тематизирован теоретико-познавательный проблемный ракурс, который не был привнесён в неё романтизмом, но был присущ ей на системном уровне, и который, тем не менее, мог быть осмыслен как нечто самостоятельное только под воздействием романтических мировоззренческих инспираций. Лингвистике, чтобы быть полноценной наукой, было недостаточно обладать одним только методом, поскольку метод нуждается в идеальной фокусировке, нормативы которой невозможно почерпнуть из одного только предметного материала. Вот почему теоретико-познавательная проблематизация лингвистических исследований стала показателем зрелости лингвистической мысли. Романтизм дал возможность понять науку о языке как особый формат организации сущностных сил человеческой субъективности, выявив в лингвистической науке содержательные признаки ценностной рефлексии, присущие ей как особому духовному состоянию, характеризующемуся выраженным потенциалом идеализации. Романтизм позволил увидеть целый пласт гносеологической проблематики в лингвистике, который не исчерпывается одним только прагматическим применением принятого научного метода и даже возможным методологическим консенсусом. В лингвистике раскрывается духовная действительность, в которой заключены специфические антагонизмы, принципиально не исчерпываемые в самом предметном научном материале. Романтизм привнёс в лингвистику критический пафос, которого она на уровне абстрактно-всеобщей своей целостности была лишена.

Изначально как мировоззренческая коммуникативная инициатива романтизм возникает в Германии, интеллектуальная



жизнь которой была поставлена перед необходимостью сформулировать ценностный ответ на реальный вызов, порождённый Великой Французской революцией. Этот ответ мог явиться только в идеальной форме, чем и была обусловлена принципиальная двойственность романтической мировоззренческой практики: романтизм революционен по характеру своих художественных инициатив, но зачастую реакционен в актуальном контексте своего политического воплощения. Эта двойственность фиксируется в тематической конфликтообразующей коллизии романтизма – в понятии «романтического двоемирия», заключающем в себе непримиримое антагонистическое противоречие между убогой немецкой действительностью и возвышенным поэтическим идеалом. Пока эта коллизия сохраняется в своём мотивирующем качестве как формат эстетического конфликта, сохраняется и сам романтизм в качестве художественной практики, ориентированной на его субъективное разрешение.

В истории немецкого романтизма указанная конфликтная коллизия сохраняет свой мотивирующий в эстетическом смысле потенциал на протяжении трёх периодов его развития. В йенском романтизме закладываются общемировоззренческие принципы. Это – период деклараций, когда эстетический манифест сам по себе становится полноценной художественной практикой. Йенский романтики полагали, что ведущим жанром новой литературы станет роман, но ни один из романов этого периода так и не был завершён, ибо йенцы сознательно культивировали фрагментарность как эстетический норматив. В гейдельбергском периоде происходит интенсивное развитие лирики, сопровождаемое культивированием идеалистических начал народности, а кроме того создаются прецеденты развития малых прозаических форм, прежде всего – новеллистики. Полноценное романное мышление складывается только в берлинский период, и происходит это путём композиционной циклизации малых прозаических форм, имеющих новеллистический генезис. Нельзя сказать, что романтики преуспели в драматургии, но следует обратить внимание на пусть эстетически-второстепенный, но симптоматически-значимый феномен романтической комедии, в

которой романтики стремятся к пародийному выявлению противоречий собственной эстетической позиции.

Романтическое двоемирие принципиально не может иметь иного разрешения, кроме иронического, так как реальность как таковая вызывает у романтиков неприятие, а идеал позиционируется как нечто заведомо недостижимое. Романтическая субъективность несёт этот конфликт в себе самой. В своём индивидуализме она постулирует идею свободного развития субъекта, для которого на деле нет предметных исторических предпосылок. Отсюда – конфликт романтического героя с действительностью. «Прогрессивная универсальная поэзия» романтизма культивирует фрагментарность, ибо фрагмент должен мыслиться как тождество субъекта и объекта, раскрываемое в иронии индивида по поводу полагаемых на него конвенциональных границ в жизненном мире. Романтики полагали, что целостность романтического фрагмента не позади, не в прошлом (как это имеет место применительно к дошедшим до наших дней памятникам античного искусства), а впереди: романтический фрагмент органичен и способен к развитию через сотворческое участие реципиента. Отсюда проистекает эстетическая абсолютизация романтической иронии как художественного метода: противоречие между невозможностью и необходимостью исчерпывающей полноты высказывания невозможно разрешить, но можно показать на уровне эйдетики эстетических нормативов, опровергаемых субъектом изнутри. В сущности, романтическое двоемирие генерализирует ситуацию гносеологической антиномии в ценностно-мировоззренческом смысле. Р. Гайм отмечает: «Около этого центрального пункта вращаются все суждения, в которых более остроумный и гениальный, чем дальновидный и методически мыслящий, Шлегель сравнивает приёмы гения с приёмами нашего «Я» и считает себя вправе называть эти приёмы одинаковыми; отсюда же истекает его требование, чтобы всякое искусство было научной системой, а всякая научная система искусством и чтобы философия соединилась с поэзией» [3, с.254]. В теоретическом смысле эта задача представляется заведомо утопической, будучи в гносеологическом плане неисполнимой и претенциозно-

нереальной (но в смысле эстетической инспирации она определяет весь комплекс продуктивных интенций), нацеленной на задание новой тотальности большого стиля. Проблема становящейся духовной идентичности требует от романтиков утопической идеализации задач развития национального самосознания. Об этом хорошо высказался Г. Гейне: «В груди писателей каждого народа уже запечатлён образ его будущего, и критик, которому удалось бы анатомировать одного из новейших поэтов достаточно острым ножом, мог бы легко, как по внутренностям жертвенного животного, пророчески предсказать, какой облик в дальнейшем примет Германия» [4, с.243]. Этот идеалистический ракурс, отмеченный Г. Гейне в его «Романтической школе», проективно значим для всех мировоззренческих устремлений романтиков.

Было бы, однако, ошибкой полагать, что романтизм всецело был ориентирован на идеалистическую утопию, что романтическая ретроспективная идеализация народности исключает критическое отношение к действительности. Характеризуя романтическое мифотворчество, Н.Я. Берковский писал: «Романтизм уже в пору йенского своего цветения таил в себе сознание предстоящих ему трудностей. Ранние романтики были триумфаторами, которым не чужд был страх за свои триумфы. Ведь неизбежным было возвращение к исторической действительности, нельзя было не опасаться, чего и как оно потребует. Нужно помнить, что тема действительности в самый разгар романтизма существовала через романтическую иронию» [1, с.125]. Именно ирония в качестве генерализированного мировоззренческого тропа побуждает романтиков обратиться к проблематике языка. Для А.В. Шлегеля, бывшего профессиональным индологом, специалистом по санскриту и одним из первых историков древнеиндийской литературы, это означало открытие параллелизмов в сигнификациях как на этимологическом уровне, так и на мегауровне жанровых структур, которым не соответствовало само концептуальное видение реальности у древних индусов и у представителей европейских народов.

Для Ф. Шлегеля этот иронический момент оборачивается проблематизацией примата морфологии применительно к проблеме происхождения языков, на что он указывал в «Философии языка и слова»: «Что касается происхождения, а именно реального исторического происхождения не языка вообще, а отдельных ещё существующих и позитивно данных языков, особенно тех, которые в сравнении с производными от них и смешанными могут считаться по крайней мере праязыками, то главный момент для правильного взгляда на них состоит в том, что мы должны объяснять их самих и их возникновение и первоначальное формирование не из смешения, выведения и соединения частных, но представлять их как созидание в целом, подобно тому, например, как и теперь ещё поэтическое творение или любое другое истинное произведение искусства возникает из идеи целого и не может быть соединено чисто атомистически» [9, с.363]. В сущности, шлегелевский органицизм выходит за пределы компаративистски истолкованного методологического примата морфологии, но для такой постановки задачи время придёт только в эпоху эстетического идеализма Б. Кроче и К. Фосслера. Шлегелевская философия языка трактует органицистски сам постулат лингвистического реализма, что исключает чисто методологическое решение проблемы, поскольку Ф. Шлегель видит в нём интеллектуалистическую симплификацию «неизречённой тайны языка». Теоретически романтизм попросту не готов к научному видению поставленной задачи, на что указывает признание В.М. Жирмунского: «Теоретическое исследование доводит до порога религии и в ней находит своё оправдание» [7, с.173]. Важно понять, что эта коллизия подаётся романтиками не как уход от проблемы, а как идеализируемая возможность её концептуального снятия, предполагающего разрешимость на уровне духовной трансценденции.

Романтическая философия языка исходит из названных мировоззренческих инспираций, о чём свидетельствует признание В. фон Гумбольдта: «внутренняя сущность человека, развиваясь сама из себя и видоизменяясь под взаимным влиянием людей друг на друга, самостоятельно настраивается к той

гармонии, в которой одной как дух, так и сердце человека могут успокоиться» [6, с.73]. Гумбольдтианская философия языка предполагала всеобъемлющий мировоззренческий консенсус, достигаемый в пределах компаративистской методологии, но имеющий в виду теоретический горизонт обобщения, в котором примат морфологии оказывается принципом, обеспечивающим выражение субъектного единства духовной жизни человека. Язык, выражающий существо духа народа, выступает гарантом его исторической идентичности, сохраняющейся в качестве инвариантного образования в любых морфологических конфигурациях. Это означает, что в романтической философии языка человеческая картина мира предопределяет духовное развитие человека. Истиннымдемиургом этой картины мира является дух народа, находящий своё аутентичное выражение в языке. Эта мысль В. фон Гумбольдта оказала в дальнейшем огромное влияние на целый ряд концепций, обосновывающих системное единство лингвистической науки, исходя из плана содержания. К их числу можно отнести венскую школу «слов и вещей», неогумбольдтианство И.Л. Вайсгербера, американское этнологическое направление, а также во многом и эстетический идеализм. Концептуальный фокус гумбольдтианского учения о языке как о носителе духа народа образует понятие «внутренней формы слова», восходящие к гердеровской доктрине о «внутреннем слове души». В. фон Гумбольдт учит, что «духовная способность существует единственно в своей деятельности и представляет собой следующие друг за другом вспышки силы, выступающей во всей своей целостности, хотя и избравшей для себя одно единственное направление. Законы языка суть поэтому не что иное, как колеи, по которым движется духовная деятельность при языкотворчестве, или, привлекая другое сравнение, не что иное, как формы, в которой языкотворческая сила отчеканивает звуки» [5, с.100].

В гумбольдтианстве принцип романтического двоемирия оборачивается постулатом о «языковом междумирии», которое лежит между полюсами реального и идеального начал. Ни реальность сама по себе, взятая безотносительно к языку, ни чистая идея недоступны непосредственному человеческому

разумению. Они мыслятся как регулятивы, задаваемые языком, но так никогда и не представляющие непосредственно в человеческом опыте. Язык оказывается онтологической константой, и вне его законов, раскрывающих потенциал внутренней формы, нет никакого «бытия», к которому человек мог бы иметь некое сущностное отношение и о котором он мог бы обладать каким-либо аподиктически-достоверным знанием. Такой подход предполагает методологический примат морфологии, трактуемой романтически в органицистском ключе. Характеризуя ход гумбольдтианской мысли, Р. Гайм писал: «Всё направление языка формально. Первоначально язык владеет формой только в весьма недостаточной степени, даже грамматический элемент, поскольку он вообще существует, носит материальный характер. При дальнейшем развитии материальное значение вскоре уступает формальному применению; однако грамматика выступает только в случае надобности, оно ещё не владеет языком и не господствует в нём. Затем следует более высокая и наивысшая ступень: ни один элемент не мыслим более вне формы, и материал как таковой в речи совершенно подавлен; этой ступени достигают только наиболее развитые языки» [2, с.445]. Такое понимание гумбольдтианства характерно для позитивистского взгляда как на мир, так и на язык. Это видение исходит из гумбольдтианских констатаций, но смысл их сущностной связи в позитивизме искажается, коль скоро в нём отсутствует категориальный локус для самого понятия духа. В той мере, в какой современное языкознание сохраняет в своём составе позитивистские установки, теряется основное проблемное содержание гумбольдтианства, а его позиция как учёного предстаёт в сфальсифицированном виде.

Чтобы понять романтическую гумбольдтианскую философию языка адекватно, необходимо обращать внимание на то, что в ней изначально заложена известная теоретическая диспропорция, благодаря наличию которой научная проблема подаётся по законам тематизации романтического конфликта, в том виде, как он задаётся в литературном произведении. Именно поэтому язык в целом у В. фон Гумбольдта позиционируется как

онтологическая константа, а проблематизируется гносеологически. Способом его проблематизации являются не апории, подобающие онтологии, а гносеологические антиномии, мыслимые в ключе классического кантовского критицизма. Язык сам по себе непротиворечив в онтологическом плане, но человеческая рефлексия в процессе познания обнаруживает его противоречивость для мысли. В гумбольдтианстве системообразующие оппозиции языка преподнесены в виде антиномий: 1) существования языка от природы и его существования по установлению, 2) внешней звуковой и внутренней духовной формы языка, 3) мемориально-монументальной стороны языка, предстающего в фактическом плане как результативный «эргон», и аспекта надличностной процессуальной действительности, в котором он являет себя как «энергия», и 4) антиномии индивида и народа. В частных интерпретациях гумбольдтианства можно говорить также и об антиномиях речи и понимания, об антиномии субъективности и объективности слова. Именно в таком ключе восприняли его концепцию Г. Штейнталь и А.А. Потебня. Будучи протокольно верными, такие способы прочтения гумбольдтианского наследия во многом затеняли ту диалектику гештальта в языке, импульс которой В. фон Гумбольдт воспринял от органической онтологии И.Г. Гердера. Происходила психологизация романтической философии языка, предпринимаемая в соответствии с позитивистскими установками, которые самому В. фон Гумбольдту были чужды. В результате речь идёт о языке как органе формирования мысли, тогда как по замыслу язык мыслился как сила, придающая действительности мышления образ.

Если романтическую философию языка В. фон Гумбольдта изъять из аутентичного мировоззренческого контекста и рассматривать в ортодоксально-позитивистском ключе, то её содержание перестанет быть интересными с точки зрения гносеологии. Именно такой и была её судьба: гумбольдтианство психологизируется, и его рассматривают как лингвистические пролегомены к позитивистской этнопсихологии. Такая его рецепция оказалась возможной, но она

была неполной, произвольной и тенденциозной. Великий русский лингвист А.А. Потебня не только психологизировал гумбольдтианское наследие, но и истолковал многие подходы романтической философии языка в духе ассоцианизма, что в существенных моментах противоречило замыслу гумбольдтианской концепции. А.А. Потебня так трактовал вопросы словообразования: «По мере того как уменьшается необходимость отражения чувства в звуке, увеличивается другого рода связь звука и представления. Звук, издаваемый человеком, воспринимается им самим, и образ звука, следуя постоянно за образом предмета, ассоциируется с ним. При новом восприятии предмета или при воспоминании прежнего повторится и образ звука, и уже вслед за этим (а не непосредственно, как при чистых рефлексивных движениях) появится самый звук» [8, с.94]. Такое истолкование, соединяющее психологический ассоцианизм с элементами оноματοпозитической гипотезы, с позитивистской точки зрения представляется допустимым способом прочтения гумбольдтианства. Впоследствии собственно романтический момент, восходящий к гердеровской органической онтологии, стремился элиминировать из гумбольдтианства Г.Г. Шпет, трактовавший как новаторство те его аспекты, в которых предлагалась процедурная рационализация, внешняя по отношению к общеромантическому замыслу. Г.Г. Шпет писал: «новое у Гумбольдта легко отличить и выделить: это есть приложение термина к языку, он говорит о внутренней языковой форме. Такое применение термина уже требует его переработки, и в общем предрешает её направление: от метафорической расплывчатости и иррациональности к полной строгости и рациональности» [10, с.97]. И этот подход к наследию Гумбольдта оказывается предвзятым, поскольку в нём объявляется атавизмом то, что составляет его суть, – романтическое мировоззрение, вне которого сами антиномии языка утрачивают своё гносеологическое значение.

Возрождение исконной романтической интенции гумбольдтианства всегда становится событием, выявляющим кризисные тенденции в лингвистических доктринах.



ориентированных на план содержания. Романтическая философия языка как мотив в истории лингвистики становится индикатором наличия гносеологической проблематики, требующей пересмотра формата господствующей по показаниям духа времени теории.

### Список используемой литературы

1. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука-классика, 2001. 512 с.
2. Гайм Р. Вильгельм фон Гумбольдт: описание его жизни и характеристика. М.: Едиториал УРСС, 2010. 544 с.
3. Гайм Р. Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума. СПб.: Наука, 2007. Т. 1, 893 с.
4. Гейне Г. Собрание сочинений в 10 т. Л.: Госхудлитиздат, 1958. Т. 6, 471 с.
5. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 2000. 400 с.
6. Гумбольдт В. О пределах государственной деятельности. М.: Социум-Три квадрата, 2003. 200 с.
7. Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб.: Аксиома, 1996. 232 с.
8. Потеня А.А. Слово и миф. М.: Правда, 1989. 624 с.
9. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М.: Искусство, 1983. Т. 2, 448 с.
10. Шпет Г.Г. Психология социального бытия. Избранные психологические труды. М. Воронеж: Институт практической психологии НПО Модэк, 1996. 492 с.

## 7. ПРОБЛЕМА МЕТОДА В ЛИНГВИСТИКЕ XIX ВЕКА

Мировоззренческая коллизия классического XIX века отмечена конфликтом двух тенденций, образующих ключевые стратегии теоретического обобщения – позитивизма и постклассического иррационализма. Доминантным фактором в интеллектуальной жизни становится позитивизм и родственные ему концепции – утилитаризм, прагматизм и различные версии материализма. Позитивизм утверждает культ Прогресса, а все усилия его адептов нацелены на осуществление утопии бескризисного развития. Позитивисты апеллируют к фактам, трактуя системную связь между ними в естественнонаучном ключе. Рецессивным фактором в сознании XIX века является посткритический иррационализм, интегрируемый в русле «философии жизни». Эти доктрины отмечены печатью глубокого мировоззренческого пессимизма, базирующегося на волюнтаристских метафизических предпосылках, в составе которых даёт знать о себе подавленная крипторомантическая интенция. Будучи мировоззренческими оппонентами, доминирующий прогрессистский позитивизм и рецессивный посткритический иррационализм весьма причудливым образом отражают друг друга: посткритический иррационализм манипулирует откровенно позитивистской фактографией, истолковывая последнюю пессимистически, а опьянённый своими успехами позитивизм ведёт себя так, как если бы утопия бескризисного развития уже состоялась в реальности, соответствующей обетованиям «религии Прогресса». «Философия жизни» в её реакционных устремлениях прибегает к тенденциозно-истолкованной фактической аргументации, принимая навязанные ей позитивизмом правила игры, а позитивизм настолько догматизирует свои установки, что они утрачивают рациональное содержание. Модель этого конфликта как гносеологической коллизии была не задана, но гениально предвосхищена и угадана в мифологеме романтического двоемирия, с той, однако, оговоркой, что содержательный аспект этой конфликтогенной коллизии не допускал идеалистического прочтения, но требовал метода, имеющего формализуемые по показаниям реальности лимиты продуктивного опосредствования.

Компаративизм с его методологическим приматом морфологии, требующим редукции всех проблемных аспектов языка к морфологии, на уровне которой должно было состояться рациональное объяснение, обладал лишь кажущейся универсальностью, поскольку не учитывал факта качественного различия в единицах, принадлежащих разным уровням языка. Ниже морфологии находится фонематический уровень, где сказываются психофизиологические детерминации, а выше – словообразование, грамматика синтаксис и стилистика, на уровне которых возрастает значимость фактора конвенциональных детерминаций. Компаративизм не обладал достаточной теоретической мобильностью, чтобы выработать единый методологический критерий, позволяющий унифицировать детерминации естественного и конвенционального планов. Его методологическая размерность оказалась семантически-перегруженной для единиц фонематического уровня и дискретной с точки зрения потребности в обобщении, практикуемой в режиме дисциплинарных прагматизаций более высоких уровней. Компаративизм игнорировал этот дисбаланс, уповая на то, что проблемы лингвистики могут быть решены на общенаучном уровне прагматизации абстракций естественного исторического развития. Если в истории выявить естественную закономерность, то сравнение морфологических конкретик разных языков в пределах гипотетически-общего генезиса, станет титульным методологическим форматом, выход за пределы которого будет равнозначен отказу от научной позиции как таковой. Этому упованию компаративистов не суждено было сбыться.

Компаративизм сохраняет свою научную респектабельность, скрывающую общеметодологическую дефицитарность, прибегая к тактике избирательных теоретических интервенций в те дисциплинарные области языкознания, в которых его метод хоть и лишён доказательной силы, но не может быть опротестован по показаниям иррелевантности избранного им проблемного ракурса. А. Потт прибегает к этимологическим исследованиям, вторгаясь в область исторической фонетики. А. Кун основывает

лингвистическую палеонтологию, осваивая материал этнологии в контексте решения топонимических задач. О. Шрадер разрабатывает теорию членения индоевропейской языковой области, чем ставится вопрос о характере ареальных процессов: как соотносится в них типологическая общность по факторам генезиса и их актуальная в своей специфичности языковая физиогномика? Это приводит к интенсификации штудий санскрита в работах Т. Бенфея, М. Мюллера, В.Д. Уитни, О. Бетлинга и Р. Рота. Двое последних перевели вопрос в лексикографическую плоскость. Компаративизм вторгается в классическую филологию посредством этимологических штудий Г. Курциуса и в романистику посредством грамматических исследований и опять-таки этимологических штудий Ф. Дица. Подъём национального самосознания славянских народов приводит к усилению роли компаративизма в трудах филологов-славистов: И. Юнгманн в Чехии, Я. Коллар и П. Шафарик в Словакии, Б. Копитар в Словении, С. Линде в Польше, О.Т. Бодянский, И.И. Срезневский, В.И. Григоревич и Ф.И. Буслаев в России привнесли компаративистскую методологию в славистику. Подлинным же интегратором славистики становится словенский лингвист Ф. Миклошич. Все эти важные, но частные достижения можно считать прощальными утешительными призами, предваряющими неизбежный грядущий методологический дефолт компаративистской методологии, ставший очевидным благодаря появлению натуралистической доктрины (допускавшей редукцию лингвистики к методологическим принципам естественных наук) и превративший отказ от притязаний на методологическую автономию в программное требование, исполнение которого приравнивалось к ручательству в научной легальности.

Натурализм в языкознании XIX века связан с именем А. Шлейхера, стремившегося подверстать языкознание под методологические нормы естественных наук. Область его частнонаучных интересов была весьма широка: она включала в себя индоевропеистику, германское, славянское и литовское языкознание. А. Шлейхер стремился соединить несоединимое – гегельянство с его панлогизмом и дарвинистский эволюционизм,

абстрагируясь от двух принципиальных фактов. Во-первых, Г.В.Ф. Гегель не допускал никакого развития в природе, усматривая в ней овеществлённый «обморок Мирового Духа», его отчуждение, полагал, что развитие имеет исключительно духовно-исторический характер. Во-вторых, с точки зрения Ч. Дарвина едва ли выглядело бы корректным подведение эволюционного прогресса, источником динамизма которого выступали адаптивные механизмы естественного отбора, под онтологизированные схемы диалектического мышления. Это противоречие в исходных принципах гегельянства и дарвинизма А. Шлейхера ничуть не смущало. Он полагал, что оно самоустраняется в процедурной генерализации органицистской метафоры, трактуя языки как организмы. Их различия сводятся к морфологической типологии. А. Шлейхер сравнивал изолирующие языки с кристаллами, агглютинирующие – с растениями, а флективные – с животными. Предполагалось, что их эволюционная биография далее должна описываться в соответствии с классификационными моделями дарвинизма, тогда как типологические различия организмов взяты из принципов гегелевской натурфилософии. Так возникла «теория родословного древа», подчинявшая развитие индоевропейских языков формату наглядной схематизации эволюционной дарвинистской абстракции. А. Шлейхер считал важнейшей задачей реконструкцию гипотетического праиндоевропейского языка, не задумываясь над проблемным статусом понятия предела верифицируемой исторической реконструкции. Этот статус проблематизируется как по причине возрастания роли нестатистических факторов в порядке ретроспективного углубления в фактографические массивы истории языка (что приводит к подмене явочным порядком достоверного факта вероятностными аналогиями), так и в силу натуралистического игнорирования специфики языка как социального феномена. Критичность А. Шлейхера по отношению к собственным установкам и устремлениям проявилась, однако, в том, что он отметил континуальность сохранения фонетико-морфологических признаков, присущих находящимся в контактном взаимодействии неродственным языкам.

Противоречия натурализма были вскрыты и подвергнуты критике младограмматиками, которые с последовательно-позитивистской точки зрения отвергли методологический компромисс между «спекуляцией» и наукой. Представителями этого направления были А. Лескин, К. Бругман, Г. Остхоф, Б. Дельбрюк, И. Шмидт, а их признанным идейным вождём – Г. Пауль. В своих «манифестах» они подвергли критике натуралистическую концепцию языка. Этими программными документами, знаменовавшими вступление лингвистики в фазу зрелого научного развития, стали предисловие Бругмана и Остхофа к «Морфологическим исследованиям» и труд Пауля «Принципы истории языка». Младограмматики считали поиск гипотетических праиндоевропейских первоформ бесплодным занятием, не имеющим отношения к фактографии живых языков. Вместо удовлетворения умозрительного метафизического любопытства, следует, по их мнению, больше внимания уделять истории живых языков, учитывая как их специфику, так и специфику лингвистики в общенаучном плане, дабы она не была потеряна и растворена в общеметодологических декларациях тогдашнего естествознания. На это особое внимание обращал Б. Дельбрюк, утверждая, что «не существует одного определённого метода, имеющего силу для всех естественных наук, «справедливо указывая на фактически состоявшуюся дифференциацию предметного научного знания» [3, с.46]. Признавая роль аналогии в фонетике и морфологии, младограмматики полагали, что фонетические законы не знают исключений (ибо таковые представляют собой только частные случаи интерференции действия общих знаков), а потому единственным истинным научным фундаментом лингвистики может быть только фонетика. Этот ход мысли напоминает марксистское представление о соотношении «базиса» и «надстройки». В целом младограмматическое понимание языка включает в себя: 1) атомизм на уровне методологии (рассмотрение каждого явления в языке по отдельности), 2) индивидуализм (изучение речи говорящих индивидов), 3) психологизм (без метафизических представлений о «народной душе», 4) позитивизм (интерес к фактам, отражающим

фонетические изменения) и 5) методологический примат диахронии (историческое развёртывание фактографии языкового явления). Младограмматики отвергли теорию «родословного древа» А. Шлейхера. На смену ей пришла «волновая теория» И. Шмидта, согласно которой новообразования в языке распространяются волнообразно, ослабевая по мере продолжения на периферии. Такое воззрение объясняло факт наличия в языке диалектов, что стало пусть частным, но весьма важным вкладом в развитие исторической диалектологии.

Можно с полным на то основанием считать младограмматизм классической лингвистической концепцией Века Прогресса, соответствующей ключевым мировоззренческим устремлениям этой эпохи. Младограмматики утвердили методологическую приоритетность диахронии, уделили внимание вопросу о научном фундаменте лингвистики и очистили языковую теорию от метафизических рецидивов, следуя канонам позитивизма. Они выявили на основании аналогий четыре группы сходств, значимых с точки зрения изучения языка в условиях методологического примата диахронии: 1) генетические сродства, 2) заимствования, 3) аналогии в фазах развития разных языков и 4) проективные изоглоссы эволюционного развития. Исходя из этой констатации, Г. Тард, останавливаясь на анализе третьей группы сходств, выдвинул следующую гипотезу, весьма симптоматичную для интеллектуальной ситуации XIX века: «весьма возможно, что один и тот же язык в изумлениях своего развития последовательно пользовался всеми основными приёмами словесного выражения: моносиллабизмом, агглютинизмом, флексиями и аналитизмом; но если бы даже это и было доказано, то оставалось бы доказать, что это всеобщее стремление и что движение в обратном порядке невозможно. До тех пор, пока этот необратимый и непреодолимый порядок остаётся в высшей степени сомнительным, до тех пор, как мне кажется, всего проще и естественнее смотреть на эти основные приёмы, о которых идёт речь, как на различные возможные решения, какие логически допускает лингвистическая проблема, из которых то или другое или какая-нибудь комбинация одного с другими неизбежно

должны представиться для мысли, ищущей своего словесного проявления» [7, с.264]. Младограмматикам удалось обосновать методологический примат диахронии, но он оказался связанным позитивистской догмой линейности прогресса. Между тем, на системном уровне гарантий необратимости нет. Более того: в младограмматизме отсутствует внятное представление о системной целостности языка, принимая во внимание склонность младограмматиков практиковать атомистический подход к языковым явлениям. Эти и подобные этому вопросы привели к необходимости пересмотра младограмматической методологии и к отказу от его концепции, которая, казалось бы, вполне соответствовала духу и букве позитивистского понимания языка. Не будет преувеличением сказать, что критика младограмматизма в языкознании должна будет в перспективе обернуться критикой позитивизма как такового и стать предвестницей кризиса духовных оснований Века Прогресса.

Ярким прецедентом критики младограмматизма является теоретическая инициатива эстетического идеализма, у истоков которого стояли К. Фосслер и Б. Кроче. Противопоставляя «методологический» позитивизм как верность фактам позитивизму «метафизическому», для которого фактично только то, что соответствует позитивистским нормативами фактичности, К. Фосслер подвергает критике представление младограмматики об иерархии лингвистических дисциплин, заключающее в себе догматизацию базисно-надстроечной модели. Фосслер утверждает, что младограмматики неспособны различать единицы рефлексии по поводу языка и единицы самого языка, принимая одни за другие. Получается, что в их концепции единицы более высокого дисциплинарного уровня представляют собой своеобразное исключение из закономерностей, релевантных для более низкого уровня. Выходит, что надстроечная дисциплина оказывается неким казусом сбой детерминаций, определяющих базис. Для младограмматиков роль базиса играет фонетика, а комплекс эстетических отношений мыслится ими как произвольное украшение, которое в языке существует на правах многократного надстроечного сбой уровней детерминативного комплекса. К. Фосслер убеждён, что



надстроечные уровни из базисных попросту невыводимы и что сведение надстроечных уровней к базисным есть самая некорректная из возможных методологических редукций. Если бы младограмматики были правы, то простейший коммуникативный акт не состоялся бы: человек сначала бы сортировал звуки по фонетическим признакам, исходя из их общего количества, затем образовывал бы морфемы, складывал их в слова, а те, в свою очередь, расставлял бы в единственно-возможном безальтернативном порядке. Понятно, что ничего похожего в действительности не происходит, поскольку человек воспринимает акт высказывания и производит его целиком, облекая мысль в образную эйдетику. К. Фосслер настаивает на примате эстетики, исходя из принципа творческого понимания порождения речи, в силу чего в языке первичным следует считать эстетический эффект, достаточный для восприятия идеи. К. Фосслер высмеивает младограмматический фетиш «аналогии», утверждая, что человек как разумное существо низводится в позитивистском понимании языка до статуса попугая, бездумно воспроизводящего клишированные речевые образцы. Согласно его представлению, не фонетика, а только эстетика должна мыслиться осевой структурой, обеспечивающей когерентность метода в науке о языке.

Эту мысль Б. Кроче выставляет в своей «Эстетике» в генерализованном виде: «Не то чтобы существовала ещё какая-нибудь специальная лингвистика, но искомая лингвистическая наука — общая лингвистика в том, что в ней сводимо на философию, и есть не что иное, как эстетика. Кто занят разработкой лингвистики или же философской лингвистики, работает над эстетическими проблемами, и наоборот. Философия языка и философия искусства суть одно и то же». [6, с.148]. Б. Кроче отвергает традиционные воззрения на язык, трактуемые позитивистами как «факты». видя в них всего лишь дидактические фикции. Б. Кроче писал: «Понять речь как агрегат слов, слова как набор слогов, корней и суффиксов означает понять первичность речи как continuum организма, в котором слова, слоги и корни являются *posterius*, анатомическим препаратом, продуктом абстрагирующей деятельности разума, а

не чем-то изначальным. Грамматика и риторика, перенесённые в сферу эстетики, породили удвоение так называемых «выразительных средств» и «экспрессии». Редупликация очевидным образом незаконная, ибо экспрессивные средства есть сама экспрессия, раздробленная грамматикой, она не перестаёт быть сама собой. Эта и другая ошибка – деления формы на чистую и денотативную – мешали увидеть, что философия языка не есть философская грамматика, ибо она преодолевает любую грамматику. Философия языка игнорирует и иногда даже уничтожает классы, поскольку, будучи единой с философией искусства, наукой об интуиции-экспрессии, эстетикой, она охватывает всю языковую сферу. Звучащий и артикулирующий язык в своей незамутнённой чистоте есть не что иное, как живая экспрессия в полном смысле слова» [5, с.409]. Эстетический идеализм утверждает творческую сущность самого речевого акта, отражающую характер человека и утверждающую его достоинство как мыслящего существа, а не говорильной звукоподражательной машины, воспроизводящей языковые аналогии на основе психического автоматизма. Вполне закономерно, что эстетические идеалисты видят в индивиде источник развивающих язык новаций, а в народе – среду, обеспечивающую его сохранность. На этой основе складывается индивидуалистическая теория о роли «ведущих личностей» в истории языка. Следы влияния этого учения обнаруживаются позднее, например, у А. Баха в его представлении о консервативном сглаживании индивидуальных различий в языке: «в каждой общности существует стремление к «выравниванию», единству и унификации культурного достояния, а, следовательно, и языка» [1, с.15].

Критика со стороны эстетических идеалистов в адрес младограмматизма была значимым, но не единственным фактором, выявившим кризисные тенденции в лингвистической методологии, ориентированной на позитивизм. Другим направлением, подрывавшим методологический консенсус в языкознании XIX века, был психологизм. Критика со стороны психологистов была для младограмматиков особенно неприятной, так как они сознательно стремились опереться в

своих исследованиях на данные психологии. Примером ортодоксального психологизма в языкознании считается Г. Штейнталь, внёсший значительный вклад в теоретическую легитимацию гумбольдтианской типологии языков. Он полагал, что языкознание призвано заниматься прежде всего языком как таковым, обнаруживающимся в психологической жизни человека, а потому проблемный фокус переносился им на вопрос о соотношении речи и мышления у индивида. После возникновения психологии как отдельной науки психологизм получил дополнительный импульс. Экспериментальная психология позиционировала себя в то время как естественная наука. Крупнейшим представителем психологизма в языкознании конца XIX века был В. Вундт. Его стремление выстроить связную концепцию этнической психологии приходит в противоречие с индивидуальным характером психических процессов, находящим экспериментальное подтверждение в рамках психофизиологии. В. Вундт полагал, что естественноисторические аналогии вполне применимы по отношению к истории языка: «Почти всякая гипотеза, в особенности если она более основана на конструкции, чем на фактах, опирается на теорию эволюции. Индивидуализм также не мог обойтись без помощи теории эволюции. И в этом случае Пауль дал обстоятельное разъяснение роли таких естественноисторических апологий в языкознании» [2, с.76]. Примечательно, что Г. Пауль неоднократно выступал с критикой гипотезы «народной психологии», будучи убеждённым в её антинаучности. В. Вундт полагал, что по отношению ко всякому явлению в языке можно задавать вопрос о генезисе этого явления и о факторах его транслируемой воспроизводимости. Первый вопрос предполагает ответ с позиций естественных, а второй – с позиций исторических наук. Характеризуя эту дуалистическую коллизию, Ф.Ф. Зелинский писал: «биологическая теория должна была в лингвистике уступить место своё теории психологической, которая теперь в ней царствует единовластно. Если высказанные мною соображения правильны, то этому единовластью близится конец; место исключительно психологической теории должна занять теория дуалистическая, опирающаяся с одинаковой силой и на психологические, и на

биологические корни» [4, с.219]. При этом Ф.Ф. Зелинский, анализируя путь мысли В. Вундта, обращает внимание на неизбежность натуралистического реванша, то есть возвращения к псевдогегельянской типологической модели А. Шлейхера. По сути это означало признание тщетности того пути, которым шла лингвистика после младограмматических манифестов. Позитивистская вера в Прогресс столкнулась с эффектом циклизации, отрицающим саму идею необратимости развития, когда произошла рекурсия к комплексу некогда отвергнутых оснований.

Итак, лингвистические теории XIX века, получившие гносеологическую легитимацию от позитивистского мировоззрения, вынуждены в логике своего развития декларировать прогрессистскую необратимость, но при этом возвращаться к отвергнутым концептуальным решениям, образуя цикл с рекурсией, демонстрируя разрыв между методом и системой.

#### **Список использованной литературы**

1. Бах А. История немецкого языка. М.: Едиториал УРСС, 2005. 344 с.
2. Вундт В. Психология народов. М., СПб.: Эксмо-Terra Fantastica, 2002. 864 с.
3. Дельбрюк Б. Введение в изучение языка (из истории и методологии сравнительного языкознания). М.: Едиториал УРСС, 2003. 152 с.
4. Зелинский Ф.Ф. Из жизни идей в 2 т. М.: Ладомир, 1995. Т. 1, 900 с.
5. Кроче Б. Антология сочинений по философии. СПб.: Пневма, 1999. 480 с.
6. Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. М.: Интрада, 2000. 160 с.
7. Тард Г. Социальная логика. СПб.: Социально-психологический центр, 1996. 558 с.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История языкознания, рассмотренная с точки зрения теории познания, демонстрирует концептуально-выраженную смену методологических приоритетов, в ходе которой вырисовывается отчётливая перспектива научного развития.

Познание языка начинается с метафизической постановки вопроса о характере бытующих в человеческом узусе наименований, и этот вопрос не имеет рационального решения по причине абстрактности самого способа его постановки. Языковедческая рефлексия донаучного периода, тем не менее, выделяет базовые категории, дидактическая значимость которых превосходит их теоретический научный статус.

В эпоху Средневековья сущность языка требует не только эссенциалистского формата, но и спекулятивно-теологического уровня обобщения. Ренессансное языкознание впервые поставило вопрос о развитии языка и добавило к уже имеющимся дидактическим редакциям грамматики основательный лексикографический базис.

В Новое время языкознание ориентировалось на рационалистический идеал и руководствовалось соответствующей методологией, что позволило прийти к тезису о конвенциональности языкового знака. На этой основе складываются концепции универсальных рациональных грамматик, ориентированных на идеал абстрактного логицизма. Следствием последнего становится триумф нормативистского понимания языка, подрываемый изнутри просветительским вопросом о происхождении языка. С открытием санскрита кризис нормативистского понимания языка переходит в открытую фазу, а с появлением концепции происхождения языка, основанной на принципах органицизма и конкретного историзма, становится возможным появление лингвистики как науки.

Классическая лингвистика складывается как наука на основе компаративистской методологии, причём как романтическое, так и позитивистское прочтение компаративистского примата морфологии сменяется чисто

позитивистским младограмматическим диахронизмом, строящимся на фактическом базисе фонетики.

Языкознание, сложившееся как учёность, пережило процесс теоретической трансформации в науку, обладающую собственным методом и целой системой приоритетов и задач, подлежащих реализации лишь при условии научного понимания как исходных предпосылок, так и мыслительных ориентиров. К концу XIX века, руководствуясь позитивистским пониманием познания, лингвистика легитимируется в качестве самостоятельной науки, имеющей собственный предмет и вырабатывающей критическое отношение к границам собственной компетенции.

Учебное издание

*Огнев Александр Николаевич*

**ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ  
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
ЛИНГВИСТИКИ**

**Часть I. Развитие языкознания от учёности к науке**

*Учебное пособие*

Корректор А.И. Д с м и н а

Подписано в печать 17.02.2017. Формат 60×84 1/16.

Бумага офсетная. Печать оперативная. Печ. л. 5.5.

Тираж 500 экз. Заказ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА»**

(Самарский университет)

443086 Самара, Московское шоссе, 34.

---

Изд-во Самарского университета.  
443086 Самара, Московское шоссе, 34.